Когда промчался наш мучитель — звук,
Чтоб душу вынуть и остановиться.

Какой-то ветер расшатал засов,
И ухнула полночная зарница,
И вышла горсточка родимых голосов,
Чтоб сердце сжать и не остановиться.

В глуши завелся хриплый бой часов —
Как будто голос пролила певица.
Ручей какой-то в горле пересох,
Чтоб душу вымотав, навек остановиться.

За остановкой — лестничный пролет,
Где с неба в землю ввинчены ступени,
Как мрамор жилистой и мглистой,
словно лед,
Русалками облепленной сирени!

О жизни, о жизни — и только о ней!

О жизни, о жизни — о чем же другом! —
Поет до упаду поэт.
Ведь нет ничего, кроме жизни, кругом,
Да-да, чего нет — того нет!

О жизни, о жизни — и только о ней
Поэт до упаду поет.
На миг оторвется — и дуба дает,
И где ему петь! Не встает!

О жизни, о жизни — о, чтоб мне сгореть! —
О ней, до скончания дней!
Ведь не на что больше поэту смотреть —
Всех доводов этот сильней!

О жизни, о ней лишь,— да что говорить!
Не надо над жизнью парить!
Но если задуматься, можно сдуреть —
Ведь не над чем больше парить!

О жизни, где нам суждено обитать!
Не надо над жизнью витать!
Когда не поэты, то кто же на это
Согласен — парить и витать!

О жизни, о жизни — о чем же другом!—
Поет до упаду поэт.
Ведь нет ничего, кроме жизни кругом,
Да-да, чего нет — того нет!

О жизни, голубчик,— сомненья рассей:
Поэт не такой фарисей!
О жизни, голубчик, твоей и своей,
И вообще обо всей!

О жизни, о ней лишь! А если порой
Он роется: что же за ней! —
Так ты ему яму, голубчик, не рой,
От злости к нему не черней,

А будь благодарен поэту, как я,
Что участь его — не твоя:
За шторами жизни — такие края,
Где нету поэту житья!

Но только о жизни, о жизни — заметь! —
Поэт до упаду поет.
А это, голубчик, ведь надо уметь —
Не каждому бог и дает!

А это, голубчик, ведь надо иметь,
Да-да, чего нет — того нет!

О жизни, о ней, не ломая комедь,
Поет до упаду поэт.

О жизни, о жизни — и только о ней,
О ней, до скончания дней!
Ведь не на что больше поэту смотреть
И не над чем больше парить!

Ночь гитары

День насытился страстями,
Над квартирой спит квартира.
Небо звездными кистями
Оплело ограду мира.
Сторожа гремят костями.
На бревне вздыхает пара.
Гамлет — пьян, бредет с гостями,
На груди бренчит гитара,
Он рычит, что это — лира.
А над ним — как на смех! — Лира,
Несгораемая дура,
Мерзнет в облаках от жара,—
У нее — температура,
У гитары — синекура.
Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Окати ведром эфира
Воздух душного бульвара.

Что за варварская мера:
Отрицать, что ты — не лира!
Вздрогни! Кто кому не пара!
Этот спор решит рапира!
Потому что в лапах вора
Обе, лира и гитара,
Смехотворны, словно помесь
Будуара и амбара.
Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Окати ведром эфира
Воздух душного бульвара,
Но не плачь, что ты — не лира!

Вот воздушными путями
Погромыхивает хмара,
Как фигура Командора.
И кудрями трубадура
Извивается над нами
Электрическое пламя —
Жуткий ливень хлынет скоро!
Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Окати ведром эфира
Воздух душного бульвара,
Лилового коридора,—
Воздух, мучающий сердце,
Словно кофе Эквадора!

Древность дышит новостями:
Например, губа — не дура,
Не создай себе кумира,
Целое не мерь частями,
Прочее — литература!
Ах, как люто мерзнет лира
В час, когда в котле бульвара
Задыхается гитара
И с хрипением пускает
Изо рта пузырь повтора:
Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Окати ведром эфира
Воздух душного бульвара.

Плачь, любимица трактира!
Плачь, красавица базара!
Плачь, кормилица фольклора!



Валентин КАТАЕВ

ЛИВАНОВЫ

Впервые я увидел Бориса Ливанова в Художественном театре в двадцатых годах.

Двадцатые годы! Неповторимое время нашего перехода от юности к зрелости. Об этом удивительном времени можно было бы исписать тонны бумаги. Но необъятное не обнимешь.

Начало второго или третьего акта. Идет занавес с белой чайкой. На авансцене длинный, по-провинциальному обильный праздничный стол. То ли именины, то ли еще что-то. По-видимому, ожидаются гости, но пока еще сцена пуста. Лишь один молодой человек — высокий, могучего сложения, с малообещающим плотоядным лицом и развязными манерами уездного хама — первый гость — ходит вокруг стола, пристально разглядывая закуски и бутылки.

Он не произносит ни одного слова. Мимическая сцена длится минут пять. Пять минут сценического времени — это целая вечность.

Подобные паузы обычно потом входят в историю театра, как легенда. В то время ходила легенда о знаменитой паузе Топоркова в театре Корша, не помню уже в какой пьесе, когда он повсюду искал свалившееся с носа пенсне, а оно болталось на шнурке.

Эта пауза считалась рекордом.

Ливанов побил этот рекорд, «перекрыв» Топоркова на одну минуту.

Зрительный зал внимательно следит за действиями молодого актера, в то время почти еще неизвестного. Никто не кашляет. Затаили дыхание. Больше того, чопорная публика Художественного театра против своей воли как бы вовлечена в игру. А игра состоит в том, что, оказавшись наедине с накрытым столом, молодой человек, не стесняясь, сует нос в закуски, трогает пальцами студень, любуется поросенком, переворачивает его и так и сяк, передвигает тарелки, сует в рот куски пирога, чавкает, мурлыкает от наслаждения и, обходя со всех сторон стол, в конце концов разрушает всю его архитектуру, превращает в беспорядочную кучу еды и посуды, словом, ведет себя свинья свиньей. При этом сохраняет обаятельную улыбку и детское простодушие, как бы даже не подозревает, что он совершает непристойность.

Отличный образец сценического самочувствия, которое Станиславский называл публичным одиночеством.

Вся мимическая сцена заканчивалась шумными аплодисментами, что во время акта случалось тогда не так-то часто, особенно в Художественном театре.

Небольшой эпизод, сыгранный молодым Ливановым, был единственным живым местом в скучной пьесе, где роли исполняли почти все звезды мхатовских актеров старшего поколения во главе с Москвиным.

Молодой Ливанов переиграл всех.

Наша дружба началась с моей «Квадратуры круга» — маленькой комедии-шутки, которую с благословения Станиславского поставил на своей Малой сцене Художественный театр для того, чтобы дать работу молодежи — Яншину, Грибкову, Бендиной, Титовой, Титушину, конечно, Ливанову.

Режиссером-постановщиком был столь же молодой, полный чувства внутреннего юмора Горчаков, а руководителем постановки — Немирович-Данченко.

Пьесу рекомендовал театру известный критик П. А. Марков, ведавший в то время литературным отделом МХАТа.

Репетировали почти целый год, я часто бывал на репетициях, сошелся со всеми актерами, занятыми в спектакле, в особенности же с Ливановым, который с той незабвенной поры стал для меня на всю жизнь просто Борей.

Мы были молоды, быстро подружились, перешли на «ты». Ничто так не сближает людей, как театр, его особая закулисная, репетиционная атмосфера, в особенности же успех спектакля. Успех «нашего» спектакля превзошел все ожидания.

С тех пор и уже на всю жизнь Ливанов стал «моим актером», а я стал «его автором», хоть в дальнейшем пути наши в понимании театрального искусства разошлись.

Но все равно дружба осталась.

Ливанов был красавец — высокого роста, почти атлетического сложения, темноволосый, с черными, не очень большими глазами, озорной улыбкой, размашистыми движениями, выразительной мимикой. Широкая натура, что называется, «парень душа нараспашку», однако с оттенком некоего европеизма.

Он был постоянно одержим какой-нибудь самой невероятной идеей. Одно время, например, он высказы-

вал ту мысль, что государство должно устанавливать размер заработной платы каждому человеку, в особенности актеру, в зависимости от его роста, веса и аппетита: маленькому поменьше, большому побольше.

Я думаю, эта идея поселилась в голове Ливанова вследствие его громадного аппетита, резко расходящегося с небольшим жалованьем начинающего актера.

Аппетит у него был громадный. Рассказывали, что однажды в гостях он один съел целого гуся и попросил добавки. Но это, конечно, один из театральных анекдотов.

Он всегда находился в состоянии творческих поисков, творческой неуспокоенности. Он вынашивал идею создания некоего совершенно нового театра, где бы на ярко освещенной, совершенно пустой сцене, на зеркально начищенном паркете наклонной площадки действовали бы безо всяких аксессуаров актеры без грима, но в специальных легких шелковых одеждах вроде японских халатов.

Он делился со мною своими идеями, облапив меня за плечи и пылко дыша мне прямо в лицо, причем глаза его тревожно и вопросительно блестели.

— Да? Не правда ли, это будет здорово! Ты со мной согласен?

Иногда, если наша встреча происходила на улице и нам мешали прохожие, он загонял меня куда-нибудь в подворотню, в подъезд или даже нетерпеливо запихивал в телефонную будку, закрывал неподатливую дверцу и там, в полумраке, навалившись на меня, как медведь, продолжал развивать свои идеи.

Казалось, из его глаз выскакивают искры статического электричества.

Он обладал даром карикатуриста, и его шаржи на знакомых актеров приводили в восхищение даже профессионалов.

В «Квадратуре круга» он играл роль Емельяна Чернозёмного — доморощенного молодого поэта так называемой «есенинской школы», что тогда называлось «упадничеством».

Подобных «есенинских» эпигонов, приехавших из деревни в Москву за славой, в то время развелось великое множество. Такой тип я и вставил в свой водевиль.

Режиссура спектакля во главе с Немировичем-Данченко представляла себе Емельяна Чернозёмного неким есениноподобным типом, кудоявым, золотоволосым парнем, голубоглазым, с розовыми херувимскими щечками, в косоворотке, чуть ли не в лаптях.

Ливанов усердно репетировал, но не выражал никакого мнения относительно внешности своего персонажа, предложенной ему режиссурой.

Незадолго до генеральной репетиции он даже надел кудрявый парик, нарумянил щеки и подвел свои глаза синей краской для того, чтобы они на сцене выглядели голубыми.

По общему мнению, репетировал он вполне пристойно, и роль должна была у него получиться если не блестяще, то, во всяком случае, вполне на уровне Художественного театра.

Все шло хорошо.

Но вот настала генеральная репетиция с публикой, с «папами и мамами».

И тут произошло нечто небывалое, совершенно невероятное в истории Художественного театра. Ливанов вышел на сцену в неожиданно новом образе. Вместо кудрявого парика на его голове торчала щетка жестких волос, особенно высоких спереди, над лбом; нос был длинный, извилистый; на щеках веснушки; вместо рязанской косоворотки на его могучее тело был натянут модный по тогдашним временам пуловер с ромбовидным рисунком, доморощенное изделие Мосшвеи, купленное, по-видимому, Ливановым на свой счет. Выпяченная грудь...

Словом, совсем не то, что было утверждено режиссурой.

Увидев Ливанова—Емельяна Чернозёмного в таком виде, Немирович-Данченко, принимавший спектакль, побагровел от ярости, нервно погладил свою элегантно подстриженную бороду с изнанки — то есть от горла к ее вздернутой периферии, издал зловещий звук, нечто среднее между мычанием и стоном, и мы все, сидевшие рядом с ним, поняли, что за свое самоуправство Ливанов немедленно же после спектакля будет с позором изгнан из прославленного театра.

Однако ничего не подозревающая публика встретила выход Емельяна Чернозёмного веселым смехом, а когда он стал произносить свой текст, то смех усилился.

Образ, созданный Ливановым, был настолько близок к весьма распространенному в то время типу молодых поэтов-графоманов — комический гибрид эпигонов Есенина и Маяковского с некоторым внешним сходством с молодежным самородком Иваном Приблудным, — что зрительный зал пришел в полный восторг, и роль Емельяна Чернозёмного, гротескно поданная Ливановым вопреки всем строгим традициям Художественного театра, прошла, как говорится, «на ура, первым номером».

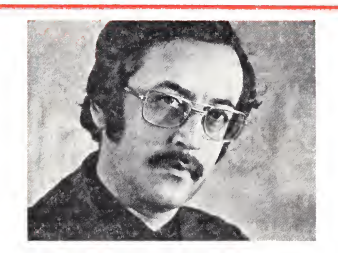
Успех Ливанова был так очевиден и так велик, что мудрый дипломат Немирович-Данченко сделал вид, будто ничего криминального не заметил, отечески похвалил за кулисами Ливанова, утвердил его самостоятельный грим и костюм, причем дал понять, что, в сущности, этот образ таким и был задуман им самим.

Впоследствии Ливанов редко прибегал к столь острому гротеску, почти клоунаде. Он органически вписался в строго-реалистический стиль Художественного театра, и его молодой, сильный талант ширился и углублялся с каждой новой ролью, в которую он все же всегда вносил нечто свое, особое, остро-ливановское.

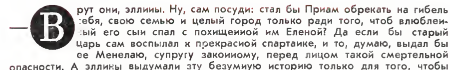
(Продолжение — на стр. 27)

Василий
ЛИВАНОВ









АГНИЯ, ДОЧЬ АГНИИ

СКАЗАНИЕ О СКИФАХ

Глава первая

«Да, скифы—мы!»
А. БЛОК

— Врут они, эллины. Ну, сам посуди: стал бы Приам обрекать на гибель себя, свою семью и целый город только ради того, чтоб влюбленный его сын спал с похищенной им Еленой? Да если бы старый царь сам воспылал к прекрасной спартанке, и то, думаю, выдал бы ее Менелаю, супругу законному, перед лицом такой смертельной опасности. А эллины выдумали эту безумную историю только для того, чтобы оправдать разграбление великой Трои да еще выставить себя героями.

— Да пойми ты, варвар, история тут ни при чем. Это высокий поэтический вымысел.

— Красиво врут и с наслаждением — вот в чем беда.

— Соври лучше! — И Аримас в сердцах так стукнул молотком по готовой форме для литья, что она раскололась.

— Ваш спор, мужи,— сказал молчавший до сих пор Ник Серебряный,— легко бы разрешила любая женщина, эллинка или скифянка — все равно. Женщина бы сказала вам: не надо спорить, они сражались за любовь.

— Мир вам, свободные скифы! Есть новости?

Много новых тропинок протоптали тогда в степи наши кони. И уже отвыкли воины сжимать рукоятку меча или тянуть тугой лук прочь из горита[1], заслышав в стороне фырканье и топот чужих жеребцов и завидев над высокой травой островерхие шапки незнакомых всадников.

Спешившись, садились на пятки, знакомились, пуская чашу по кругу, делились мирными новостями, хвастались довольством, хихикали и сплетничали, как женщины.

А женщины наши...

Редко под какими войлоками, расшитыми заботливыми женскими руками, не закричал тогда новорожденный младенец.

Молодежь донимала предсказателей гаданиями на переплетении ивовых

Рисунки
И. УРМАНЧЕ.

[1] Горит — чехол для боевого лука.

прутьев о грядущем счастье, и долгими теплыми вечерами звонкие молодые песни разлетались над светлой водой Борисфена[1] и падали, обмирая, в пахнущие пьяным дурманом травы.

Даже лохматые наши псы забывали грызться из-за брошенного им куска и лениво отворачивали поглупевшие морды, когда подачка казалась им не слишком лакомой.

Стада наши тучнели и множились, как облака в грозовом небе, а небо над нами было безоблачно, чисто и высоко, и в этой чистой вышине парили, распластав крылья, недосягаемые для стрелы птицы.

Молчал великий бог Папай, а наши старики становились все речистее и речистее.

Ах, старики, разрази вас гром!

Найдется ли старик, кто в молодости не был храбрейшим из храбрых, удачливейшим из удачливых, могучим, как Таргитай[2], любимец богов?

Есть ли старик, который признается, что не пировал он на свадьбе Прототия, вождя всех скифов, с дочерью Асархаддона, царя ассирийского?

Или скажет, что не его аргамак[3], быстрый, как гепард, топтал Ливийскую пустыню, когда фараон Псамметих воздвиг перед ним золотую стену из богатых даров?

Разве отыщется старик, который не познал счастливой любви множества женщин? Старик, который не ласкал в свое время податливых вавилонянок, дерзких ассириек, стыдливых дочерей Сиона?

Где старик, не отведавший вкус вина всех наперечет виноградников от пределов земли до берегов Борисфена да так и не захмелевший от неисчислимых мер прохладных амфор?

Слава вам, старики! Слава белым ящерицам шрамов, покрывших вашу сухую кожу, неважно, где и как полученных, слава вашим седым бородам, в которые прячете вы улыбки смущения; слава вашей мудрости — мудрости детей, готовых без конца повторять любой печальный опыт в святой надежде, что смерти нет.

Нас тревожат и манят ваши прошлые подвиги. Мы хотим сами рассказать внукам небылицы у ночных костров.

Смейтесь, лукавые боги! Пусть тот, кто имеет мало, удовольствуется малым! У нас всего много, и мы желаем еще большего! Мы будем смеяться последними. Ведите нас, старики, мы вырвем вашу молодость из когтей смерти.

Агой!

Старики не спеша подняли победные чаши из вражьих черепов, обтянутых вызолоченной кожей.

О вино! Благословенный дар неверных богов! Единственная радость нового узнавания привычных истин.

Темную влагу ночи пьет Земля из золотой чаши Неба. Медленно, наслаждаясь, тянет Апи-богиня хмельную душистую прохладу, пока не блеснет ослепительно золотое дно чаши. Тогда раскинется богиня, изнемогая от жажды под палящим взглядом Солнцеликого. И будет рождать новое, и растить уже рожденное, и провожать отжившее. И так бесконечно...

Черная в свете костров, струя упала и розово запенилась над краем чаши, падая тяжелыми каплями на руки пирующих. Виночерпий, стоя в кругу, вознес влажный мех на уровень плеч, загородив лицо, и теперь даже те, кто знал его, видели в нем только бога вина, напряженного, с широко расставленными кривыми ногами, обтянутыми пегой козьей шкурой, руками, обнимающими небо в кольце взглядов сидевших вокруг костра людей.

Сам бог вина с козьим мехом вместо головы вошел в освещенный круг, и люди притихли и посерьезнели в соседстве с богом.

Твердая струя, падающая из-под звезд, колыхнулась всей своей кривизной, отклоняя край чаши. Красная влага вина выплеснулась в лицо сидящему, окрасив его будто кровью.

Люди смотрели, как эта хмельная кровь скатывается алыми струйками по надбровьям, мимо затененных глазниц, горбинки носа к подбородку.

[1] Борисфен — древнее название Днепра.
[2] Таргитай — мифический герой скифов.
[3] Аргамак — порода древних безгривых скакунов.

Ливановы

(Продолжение)

Сейчас имя Бориса Ливанова так ярко блестит в созвездии великих мхатовцев старшего, среднего и молодого поколения, что об этом нет необходимости здесь упоминать: и так все ясно, и то, что Ливанов ушел от нас навсегда, — не меняет дела. Он был, есть и будет до тех пор, пока существует МХАТ.

Здесь же мне хочется вспомнить лишь молодого, начинающего Ливанова.

Говоря о Борисе Ливанове, вспоминаю и такой случай.

Однажды в Кисловодске, в то время, когда ставилась «Квадратура», я встретился с отдыхающим там Станиславским, и мы разговорились о дальнейшей судьбе Художественного театра.

В то время, как, впрочем, и всегда, всю свою жизнь, Константин Сергеевич много думал о дальнейшем творческом пути своего театра и о тех молодых актерах, которым предстояло прийти на смену знаменитым мхатовским старикам.

Между прочим, характеризуя молодых актеров, занятых в моем водевиле, Станиславский вдруг остановился посредине аллеи кисловодского парка и сказал:

— А вы знаете, как это ни покажется вам странным, но ваш друг Боря Ливанов со временем займет в нашем театре место Качалова. Я это предсказываю!

При этом Константин Сергеевич посмотрел на меня сверху вниз сквозь пенсне с резко-черными ободками своими милыми, проницательно-прищуренными глазами.

Тогда, признаюсь, мне это показалось невероятным. Но Станиславский оказался прав.

Ливанов очень любил Качалова, был с ним в близкой дружбе и в честь Качалова впоследствии назвал своего сына Василием.

Помню Ливанова во многих ролях, но почему-то мне особенно видится Ливанов в роли Кассио в шекспировском «Отелло».

Молодой, красивый, стройный, благородный, веселый, простодушный воин-офицер, скандалист, с обнаженным

Это был еще один знак военной удачи среди многих предзнаменований, уже посланных богами.

Здесь, на великом совете племен, Мадай, сын Мадая, за умение одинаково обеими руками владеть мечом прозванный Трехруким, был отмечен золотой секирой и признан вождем великого похода, первым среди равных.

Ему, Трехрукому, теперь царю над всеми скифами, выпало принести кровавые жертвы Мечу и возжечь костер войны на вершине Большого Кургана.

В ту ночь Трехрукий взял в жены Агнию Рыжую, свободную скифянку.

Опьяненный вином и запахом жертвенной крови, он не ласкал — насиловал молодую жену, как строптивую рабыню.

А утром Трехрукий повел за родной Борисфен скифские тьмы.

И пошли с ним расторопные фиссаги[1] и веселые будины, хитроумные тавры и скупые на слова ирки, и массагеты, не знающие жалости. И мы пошли, сколоты.

И долго еще стонала и вздрагивала изрытая копытами коней земля, и пыльное облако, поднятое войском, три дня и три ночи висело между небом и землей, заслоняя солнце и звезды.

В становище остались лишь женщины, дети, немощные старики и верные рабы.

И Агния Рыжая — над ними царица.

«Что сильнее огня? — поют наши девушки. — Вода. Что сильнее воды? Ветер. Что сильнее ветра? Гора. Что сильнее горы? Человек. Что сильнее человека? Вино. Что сильнее вина? Сон. Что сильнее сна? Смерть. Что сильнее смерти? Любовь».

Открытая для любви душа Агнии была раздавлена единственной ночью с Трехруким. Испуг, боль, брезгливое разочарование вытеснили робкое ожидание послушного счастья, живущее в сердце каждой, даже самой гордой женщины.

[1] Фиссаги или фиссагеты — скифское племя. Так же, как будины, тавры, ирки, массагеты, сколоты.

К теперешним чувствам ее примешивалось и чувство вины, что, может быть, она, неумелая, сама вызвала грубость Мадая. Тайно, с жадным вниманием прислушивалась Агния к бесстыдной болтовне замужних женщин, ища новые пути в непонятный мир человеческой любви, который так жестоко ее встретил. И не находила.

Много слез пролила Агния, прощаясь с чем-то, а с чем — она и сама не знала. Нет, она не возненавидела царя, тогда оставалась бы надежда полюбить его. Она просто постепенно свыклась с ним, теперь таким далеким, как свыкаются в молодости с мыслью о неизбежной смерти.

Если она вспоминала Трехрукого, то только с тем, чтобы повторить самой себе: «Зато я царица, царица...»

А это очень много, даже для самой гордой женщины — быть царицей. И вот она захотела нравиться себе и стала жить только для себя. А людям стало казаться, что царица живет только для них.

С тщательно расчесанными, убранными за плечи огненными волосами, в дорогом, но простом наряде, судила она бесконечные споры между женами, вынося решения, которые своей строгостью нравились ей самой, и эта уверенность царицы убеждала людей в ее справедливости.

Она толково распределяла работы между рабами, и слова благодарности умиляли ее, возвышая в собственных глазах.

Она с удовольствием объезжала табуны и стада на белолобой своей кобылице, и старые пастухи полюбили калякать с ней о достоинствах подрастающего приплода и, прищурившись, одобрительно прищелкивали языками, провожая взглядами летящий по ветру золотой пламень ее волос.

Она не забрюхатела с той ночи. Дети не влекли ее, но она угадывала, что расспросы о младенцах нравятся матерям, и не упускала случая притвориться заинтересованной.

С заходом солнца, усталая, царица валилась на груду шкур и войлоков и без сновидений спала до рассвета.

Ливановы

(Продолжение)

мечом в руке, в боевом шлеме, озорно сдвинутом немножко набекрень.

Тут можно было бы кончить заметку о друге моей молодости Борисе Ливанове. Однако в жизни никогда не угадаешь заранее, где конец, а где начало. Навсегда ушел Борис Ливанов, но пришел другой Ливанов — сын, тот самый, которого отец назвал в честь Качалова Василием.

Он вошел ко мне, высокий, худой, молодой, в серьезных очках, чем-то неуловимо похожий на отца, но только совсем другой, очень современный, одухотворенный, и протянул машинописный текст повести под странным названием «Агния, дочь Агнии», с еще более странным эпиграфом из Блока: «Да, скифы — мы!». Я вынул повесть из голубой пластиковой папки, прочел первые строчки и понял, что это нечто из жизни скифов.

О Василии Ливанове критика пишет, что искусство и прежде всего театр вошли в его жизнь очень рано и очень органично. Дед и отец оказали огромное влияние на духовный мир юноши, определили его решение посвятить себя служению искусству. Он широко известен как хороший киноактер, исполнитель запоминающихся ролей в фильмах «Неотправленное письмо», «Слепой музыкант», «Синяя тетрадь», «Коллеги» по роману В. Аксенова, наконец, совсем недавно в фильме о декабристах «Звезда пленительного счастья», где он с блеском исполнил роль Николая I.

Он сценарист, автор детских сказок, один из создателей знаменитого мультфильма «Бременские музыканты», мультипликатор. Он озвучил широко теперь известного Крокодила Гену.

Одним словом, талант его многогранен.

И вот еще — совершенно неожиданно — новая грань: повесть о скифах, глубокое погружение в древнюю историю, сказание о жизни давно уже исчезнувшего народа, некогда кочевавшего в южных просторах нашей страны, в Причерноморье, по берегам Днепра, Днестра, Прута, Дуная.

История скифов пока еще мало изучена, но изыскания археологов продолжаются, исторический материал накопляется, скифские курганы открывают перед учеными свои сокровенные тайны. На основании этого ис-

Так минуло два года.

В одно осеннее утро из тумана с того берега донеслось ржание коней, звон оружия. Властный мужской голос покатился над разбуженной водой и достиг становища. Сердце Агнии бешено заколотилось и оборвалось.

«Вернулся!»

Неведомая ей тоска сковала душу и тело. Уже женщины с криками радости высыпали на берег и лезли прямо в воду, пытаясь разглядеть своих на том берегу, а она, царица, все еще сидела в шатре, уронив руки, не в силах заставить себя встать и выйти навстречу прибывшим. А когда вышла, короткий стон вылетел из груди ее, и она без чувств упала в пожелтевшую траву.

Караван вброд переходил Борисфен. Вьючные верблюды толкали и теснили в глубокую воду маленьких осликов, длинные уши которых торчали перед ворохами поклажи. Воины, числом не более сотни, кружились верхами на удивительных тонконогих конях, размахивали нагайками и кричали, распоряжаясь толпой полуголых носильщиков, длинной цепочкой вытянувшихся от берега до берега.

Это был первый караван с далекого юга, присланный Трехруким. Самого царя между воинов не было. Это надеялась увидеть и увидела Агния, выйдя из шатра. Люди присудили ее стон и обморок любви к царю, и эта ошибка окончательно утвердила их простодушную любовь к молодой царице.

Богатые дары пришли с караваном. Становище бурлило, как речной водоворот.

Развязывали тюки, разбивали ящики кедрового дерева, растаскивали по кибиткам барахло, пряности, запечатанные амфоры с вином, дорогие безделушки. Изучали разнообразную посуду, назначение которой было не всегда понятно, но это только увеличивало счастье обладания.

Коверкая язык, с пристрастием допрашивали новых рабов, мучаясь сомнениями, что соседям достались более сильные и сметливые.

Мальчишки благоговейно прикасались к оружию, испещренному таинственными знаками.

Старики подолгу выстаивали вокруг высоких, с крашенными хной хвостами, тонконогих жеребцов, со знанием дела примеряя к ним кобылиц из наших табунов.

Кое-кто никак не мог прийти в себя от одного вида верблюжьей горбатости или длинных ослиных ушей.

Радостное оживление было общим.

И только воины, приведшие караван, держались особняком. Тяжело изувеченные в битвах, с безобразно изуродованными, обожженными лицами, с отрубленными конечностями, хромые, одноглазые, не годные больше ни для какого труда, мирного или ратного, напялив с утра пораньше раззолоченные доспехи, они шумно опьянялись вином и кумысом, неудержимо хвастались, затевали дикие ссоры, сводя какие-то старые счеты, приставали без разбора ко всем женщинам становища.

Тот, кто не умер от ран по пути к дому, заживо гнил теперь среди великолепия отнятой у врага добычи.

Среди них был и мой отец. Но я не помню его. Он ушел от нас дорогой предков, чтобы вместе с ними охранять покой Великой Табити-богини [1].

Молодой и счастливый, несется он легкой тенью среди других теней, обгоняя ветер над бескрайной степью.

Но когда-нибудь захочет Великая богиня снова испытать его мужество. И тогда женщина рода сколотов родит мальчика, и вырастет он сильным и смелым воином.

И неясная тоска будет охватывать его в короткий час сумерек между днем и ночью. То душа моего отца, влетевшая на крылатом коне в грудь вновь рожденного, будет вспоминать прошлую жизнь свою, неведомую потомку.

Так было от первого рождения, и так будет, пока серебряные гвозди звезд удерживают чашу Неба над прекрасным ликом Земли.

Драгоценное оружие, что привез отец из далекого похода, осталось с ним в его новой жизни. Чуде-

[1] Табити — верховная богиня у скифов.

торико-археологического накопления Василий Ливанов создал совершенно оригинальную повесть-позму, которая захватила меня художественной достоверностью, поэтичностью, образностью, драматизмом, а также неповторимыми характерами своих героев — «свободных скифов».

Не считая небольших сказок для детей, это первый серьезный литературный опыт Василия Ливанова. В нем чувствуется уверенная рука зрелого мастера — художника слова, что случается чрезвычайно редко с начинающими писателями, но особенно ценно в Ливанове то, что, описывая зверски-грубую скифскую жизнь, весь ее дохристианский, чисто языческий ужас, Василий Ливанов, как и подобает современному художнику, пропускает скифскую действительность как бы сквозь «магический кристалл» свойственного нашему времени гуманизма, вследствие чего написанные им картины древнего варварства обретают и второй план, что придает всему произведению некую высокую нравственную основу.

Кроме всего сказанного, следует отметить, что повесть «Агния, дочь Агнии» увлекает своим остроотточенным сюжетом и читается от начала до конца с неослабевающим интересом, несмотря на некоторые языковые и синтаксические сложности, легко, впрочем, преодолимые.

С чувством радости я рекомендую читателям «Юности» первую повесть Василия Ливанова. Я уверен, что в его лице наша литература обрела новый, заслуживающий самого пристального внимания, свежий, самобытный талант.

Горжусь, что мне первому довелось представить Василия Ливанова, сына моего покойного друга Бориса Ливанова, советскому читателю.

...И хочется его назвать по-отечески просто Васей. В добрый путь, Вася Ливанов!

Переделкино.

сный тонконогий жеребец и оба раба обагрили своей кровью черный жертвенный камень, прежде чем лечь рядом с отцом под могильный холм.

На прощальной тризне, брюхатая мною и только потому не погребенная вместе с мужем мать моя раздала людям на добрую память об ушедшем почти все, что нашла под войлоками нашей кибитки. Но она недолго пережила отца и ушла вслед за ним, едва успев отнять меня от груди. Женщины становища не дали умереть младенцу, выкормив кобыльим молоком. Имя, данное мне от рождения, забылось. Со мной осталось прозвище, каким метят особенно крепких стельных жеребят, и племя усыновило меня.

Я — Сауран[1], сын сколотов, свободный скиф. Я могу сидеть у любого костра, но нет огня, к которому подсел бы я по праву родства.

В десятую свою весну я выменял то немногое, что перешло ко мне от отца, на двухлетка из царских табунов, которого давно присмотрел,— светло-гнедого, с темной полосой по хребту, славного потомка диких коней, такого же неутомимого саурана, как и я сам.

На нем, Светлом, я увез жалкий свой скарб подальше от становища, чтобы там, у костров табунщиков, зажечь свой одинокий костер. Самое ценное, что у меня было — родовой железный меч-акинак в простых кожаных ножнах,— я закопал в степи, у подножия древнего могильного кургана. Я стал одним из сторожей бесчисленных табунов царя Мадая Трехрукого, деля неусыпный труд, тепло огня и пищу со старыми вольными пастухами и царскими рабами. Время от времени украдкой наведывался я к тайнику, откапывал заветное оружие и, обливаясь потом, старательно точил зазубренный клинок на черном камне. По ночам, откинувшись затылком на круп Светлого, я мечтал о том времени, когда мне дозволено будет опоясаться мечом, испить горячей крови поверженного врага и стать воином — равным среди равных.

Над стариком Маем посмеивались за глаза. Но когда высокая, тощая фигура его появлялась между кибитками и шатрами становища, смеяться опасались.

Мужчины вежливо здоровались первыми, с готовностью протягивали ладони для хлопка, а женщины спешили притронуться к прокопченной одежде кузнеца, чтобы скорее приблизить где-то вечно кочующее женское счастье.

Дед Май слыл колдуном.

Никто не мог бы сказать, по каким дорогам скрипела его кибитка, запряженная двумя белыми, невиданными у нас длиннорогими быками, прежде чем въехать за земляной вал нашего становища. Назвавшись свободным скифом нашей крови, приезжий, окруженный толпой любопытных, уверенной рукой направил быков к шатру царицы. Не торопясь слез он с высокого колеса и, держа под мышкой нечто завернутое в овчину, громко выкликая имя царицы, без тени смущения шагнул за полог красного шатра.

Агния Рыжая словно ждала его.

Старик попросил разрешения поставить свою голову и все, что имеет, под копыто коня Агнии Рыжей, чтобы кочевать в наших степях, брать воду из наших колодцев и зажигать костер в кругу наших костров. Потом, низко склонившись, бережно развернул он овчину и положил к ногам царицы свой дар.

Это было зеркало дивной работы. Овальную лицевую гладь обнимали крылья стремительно падающей на врага птицы. Чешуйчатое тело змеи, виясь плотными кольцами из-под золотого клюва, составляло рукоятку зеркала, которая завершалась маленькой змеиной головой, повернутой навстречу птице. На оборотной стороне бронзового овала те же крылья поддерживали гирлянду из листьев. Длинноногая лосиха тянулась к листве. Маленький лосенок, подогнув передние ножки и подняв мордочку, напряженно и выжидательно следил за матерью.

Агния залюбовалась красотой и тонкостью рисунка, безупречной отливкой. Ей показалось, что фигуры заключали какой-то неясный, очень важный для нее смысл. Пытаясь удержать догадку, уловить связь, Агния пристально и отрешенно смотрелась в теплую бронзу.

Она видела, как удивленно расширились длинные зеленые глаза ее, как побледнело лицо, как резкая поперечная складка обозначилась между темными, высокими бровями.

Но смутное предчувствие лишь тронуло ее душу и ускользнуло от сознания. Агния опустила зеркало и встретила упорный бесстрашный взгляд. Этот незнакомый старый человек глубоко заглянул в душу царицы, взволновав и испугав ее необычайно.

Бледные щеки царицы вспыхнули, глаза влажно заблестели. Желая побороть невольное смятение, царица заставила себя улыбнуться. Старик сразу же ответил улыбкой, растопырившей и без того всклокоченную бороду его и совсем сузившей глаза под густыми, тяжелыми бровями.

— Это зеркало моей работы,— сказал старик,— я хочу, чтобы оно принесло тебе удачу. Ты медноволоса и прекрасна, как Аргимпаса[2], но ты не богиня, царица, и твоя любовь может стоить тебе жизни. Я буду молиться. Да заступятся за тебя боги, царица.

Старый кузнец вышел из царского шатра и, невозмутимо раздвинув любопытных, уехал за вал становища в степь.

Когда кибитка выбралась из толпы, полог ее вдруг приподнялся, и худенький, носатый, похожий на птицу мальчик, высунувшись наружу, дразня, показал оторопевшей толпе язык.

На самом берегу Борисфена, выше становища, старик врыл в землю колеса своей кибитки и отпустил длиннорогих быков отъедаться на вольном выпасе.

Скоро слава о кузнечном мастерстве деда Мая облетела степь. День и ночь пылал огонь в сложенной из камней кузнице. Мерно стуча тяжелым молотом, дед перековывал и закалял старые клинки, правил наконечники стрел и копий, лепил из глины и обжигал в пламени фигурные формы для медного литья. Из самых отдаленных кочевий приезжали к нему заказчики и платили за работу баранами и козами, засоленными сырыми шкурами, мягкими войлоками, хлебным зерном и медом, а изредка вином. Договариваясь, старый кузнец выводил какие-то таинственные знаки на куске выделанной кожи и, заглянув в эти знаки, мог вспомнить любой заказ каждого и меру платы. И никогда не ошибался.

---

[1] Сауран — саврасый или светло-гнедой конь с темной полосой по хребту, потомок диких коней.

[2] Аргимпаса — богиня любви у скифов.



Поначалу наши старики по одному наеадыаались в кузницу с мелкими заказами, но больше для того, чтобы сладко побеседовать с новым человеком и разведать, откуда он, зачем и как. Но заказы их быстро истощились, а при оглушительном звоне молота и сильном жаре от мехов, к которым был приставлен худенький внук старика Мая, степенной беседы никак не получалось. С достоинством же помолчать можно было и дома. И старики, тая обиду, перестали наезжать. Зато псы, которых кузнец с внуком привадили щедрой подачкой, стаями сбегались к ним из становища и, отлынивая от охранной своей работы, часами слонялись вокруг кузницы, бросая на хозяев умильные взгляды, ревниво сторожа друг дружку и судорожно сглатывая слюну с горячих и красных своих языков.

Оба кузнеца, старый и молодой, были прозваны «песьими пастухами», а на самом деле внука звали Аримас, что значит Единственный.

Отсюда, с береговой кручи, отчетлиао была аидна на песчаной отмели тоненькая мальчишеская фигурка. Сидя на корточках, мальчик чертил по мокрому песку длинным упругим прутом. Сверху я хорошо различал очертания большого коня, распластавшегося в бешеном скачке. Головы у коня еще не было. Мальчик вскочил и, перепрыгивая через линии скачущих ног, оказался впереди коня и снова присел на корточки. Прут уверенно заскользил по песку. Вот конь изогнул шею, повернул голову и оскалился, обороняясь от кого-то, еще неаидимого. Конец прута вытянулся вперед, и длинная растрепанная челка, будто прижатая аетром, упала на глаза коня. От кого он убегает, этот конь, кому грозит?

Мальчик перешагнул через очертания головы и замер, вглядываясь в гладкий, утоптанный песок. Напрягая зрение, я тоже посмотрел туда, куда вглядывался мальчик, но ничего, кроме песка, не увидел.

Вдруг мальчик широко расставил ноги и, торопясь, взмахнул концом прута.

Широкие злые крылья взметнулись над конем. Хищные когтистые лапы протянулись к холке, плоская голова на длинной шее дернулась вперед, и загнутый клюв вонзился в шею коня.

Грифон! Так вот во что вглядывался мальчик на песке! Теперь мне казалось, что я тоже мог разглядеть там зто чудовище.

Мальчик поднял прут, попятился, остановился и снова рванулся вперед. Страшный грифон выпустил длинный змеиный хвост и обвил скачущие ноги коня. Сейчас конь рухнет со всего маха, сейчас... Прут сломался.

Мальчик отбросил обломок в сторону и тут увидел меня. Он подбежал к рисунку и стал затирать босыми пятками песок.

— Не надо!

Я не ожидал, что крикну так громко. Мальчик остановился.

— Что, нравится? — спросил он, по-птичьи склонив набок голову.

— Нравится.— Теперь я едва себя расслышал.

— Ерунда! Не получилось. Я лучше могу.— Он помчался по отмели и с разбегу бросился в реку.

— Ты что делаешь?!—Я быстро спустился к самой воде.— Разве ты не знаешь, что река унесет твою силу и сам ты рассыплешься песком?

Он весело рассмеялся и обрызгал меня водой. Я отскочил, начиная сердиться.

— Не сердись! — крикнул он и, взмахивая руками, быстро подплыл к берегу.

Он стоял рядом со мной, откинув назад мокрые пряди белесых волос. Глаза у него были широко расставлены и смотрели светло и задорно.

— Дедушка говорит, что вода только прибавляет силу. А дедушка знает все. Хочешь, поедем к нам? — Он подхватил с песка смешные широкие штаны свои, на ходу одеваясь, запрыгал по песку, как птица, и затрещал вопросами: — Это твой конь? Как тебя зовут? А ты, Сауран, видел грифонов?

Он продолжал трещать, пока я зануздывал Светлого, пока садился и помогал ему алезть на коня. С места я пустил Светлого вскачь. Мальчик сразу смолк и, боясь не усидеть у меня за спиной, крепко обнял меня вокруг пояса худыми цепкими руками и восторженно запыхтел в затылок. А я вдруг почувствовал радость оттого, что узнал зтого странного мальчика, умеющего вызывать из песка быстрых коней и страшных грифонов и теперь боящегося упасть с живого коня, и в душе поблагодарил его за то, что он, не стесняясь саоего страха, доверчиао держится за мой пояс. И боги знают, что еще такое почувстаоаал и подумал я тогда, но у меня защипало в носу, и слезы навернулись на глаза.

И мне захотелось всегда быть с ним рядом и чтобы он был рядом со мной всегда. И я попросил об этом богов.

Много раз белые кони дня уносили за пределы Земли сияющую колесницу Солнцеликого, чтобы дать дорогу аороным коням ночи.

Вчерашние подростки становились юношами и, едва научившись аладеть мечом и натягиаать тетиау, садились на коней и уходили за Борисфен, на юг, по наезженной дороге отцов.

А навстречу им тянулись к берегам Борисфена тяжело груженные, богатые караваны царя Мадая. Теперь даже рабы в наших станоаищах одевались не хуже хозяев.

Рабы не понимали нашу речь, часто не понимали друг друга, но всегда хорошо понимали ременный язык скифских нагаек. Поговаривали, что хитроумные тавры, первыми начавшие клеймить коней раскаленным железом, стали теперь клеймить саоих рабоа, чтобы не путать их с чужими и легче опознавать беглых. Такой обычай тавров старики подсказали царице. Но Агния Рыжая внезапно разгневалась и прогнала от себя старикоа.

Это случилось как раз после того, когда с одним из караванов снова пришли рабы. И среди прочих — чернокожий гигант из сказочной Нубии[1], невиданный подарок царя Мадая молодой царице.

И возжелал бог Папай любви Апи-богини. Тьма закрыла небо, и не явился Солнцеликий из-за пределов Земли, страшась слепящих стрел охваченного страстью бога и гремящего голоса его.

Поникли травы, перепутаа тропинки в степи, смолкли и попрятались птицы, и зверье ушло в свои норы.

Но напрасно метался ветер между небом и землей, вдувая в уши богини свистящий шепот порывистого бога.

Холодная и неприступная, ждала Апи-земля лишь возвращения Солнцеликого.

Истощил бог Папай саои стрелы, ослаб его грохочущий голос, и зарыдал он в неутоленной страсти саоей.

Слезы его, ливнями павшие на землю, сбивали нежные лепестки цветов, валили и ломали стебли

[1] Нубия — древняя Эфиопия.

высоких трав, разрушали птичьи гнезда, затопляли звериные норы и перепопняли реки.

Но неумолима оставалась Апи-богиня.

И, уронив последнюю слезу, поднес бог Папай руку, одетую черным мехом туч, к выплаканным глазам своим, и из-под руки его вдруг приоткрылось светлое небо над краем земли.

Тогда набросил Солнцеликий золотое узорное покрывало на тело Апи-богини и слушал, как глубоко и освобожденно задышала усталая земля, и ласково смотрел на нее затуманенными огненными очами, пока не закрыла их ночь.

В наступившей темной тишине только полноводный Борисфен ворчал и пенился, круша и размывая родные берега и унося степную нашу землю к черным волнам далекого Эвксинского понта[1].

Агния приехала к деду Маю незадолго до темноты. Ее сопровождал черный Нубиец. Царица, нарушив обычай, пожелала сделать чужеземца, да к тому же раба, своим телохранителем. Теперь, облаченный в грубые кожаные доспехи, с тяжелым копьем в руках, он стерег вход в царский шатер. В первые дни его стражи люди постоянно толклись перед шатром, разглядывая и обсуждая раба с испуганным удивлением и насмешливым любопытством. Два подгулявших ветерана, побившись об заклад почти со всеми мужчинами племени, попытались пройти за полог шатра, пренебрегая присутствием вооруженного раба.

Одного Нубиец сразу оглушил ударом древка, а другого легко обезоружил и прогнал с позором под хохот и улюлюканье всего становища.

Царица, узнав о происшедшем, пожелала заплатить проигрыш неудачников баранами из своих стад, загасив вспыхнувшую было к ее телохранителю ненависть ветеранов, и, дорого выкупив у обезоруженного потерянный в схватке меч, одарила им верного своего телохранителя. Решительными и умелыми действиями Нубиец снискал недоуменное уважение воинов, и его вскоре оставили в покое.

Подставив крутое плечо под ступню царицы, черный раб помогал ей сойти с коня. Дед Май вышел навстречу прекрасной гостье своей и, отогнав собак, сам снял чепраки[2] с лошадей. Конские спины, высвеченные низкими лучами заходящего солнца, дымились во влажном воздухе. Разбирая поводья, старик украдкой поглядывал на царицу и ее спутника.

Агния, закинув локти и упруго наклонив голову, поднимала к затылку тяжелые, мокрые от дождя пряди рыжих своих волос, скручивала их и собиралась заколоть пучок длинной бронзовой булавкой, которую она пока держала, сжимая губами.

Черный гигант высился у нее за спиной. Из-под опущенных век он сонно смотрел на суетящиеся белые пальцы царицы, тугие медные завитки волос на напряженно выгнутой шее, на тяжелый пучок, казавшийся медно-красным в закатном луче.

Агния несколько раз торопливо ткнула булавкой в скрученные пряди, пытаясь крепко и сразу закрепить прическу. Неожиданно Нубиец, как будто очнувшись от сна, выбросил вперед черную руку. Его длинная ладонь поймала и накрыла пальцы Агнии. Жало булавки скрылось в волосах. Раб отпрянул. Круглое навершье заколки блеснуло в скрепленном пучке.

Агния не обернулась, не взглянула на дерзкого раба. Не поднимая головы, смущенно, исподлобья она взглядом поискала, где старый кузнец.

Дед Май проворно присел за спины лошадей и сделал вид, что разбирает спутанные поводья и ничего, кроме поводьев, не замечает.

— Ага,— сказал он, подмигнув сам себе. Потом, не спеша привязывая лошадей у коновязи, еще раз серьезно обдумал замеченное и тихонько сказал лошадям: — Ага!

Присев к очагу, царица начала издалека. Она знает, что никому, даже царям, не дано проникнуть за завесу тайны, хранимой богами.

Только посвященным, кому даровано подземными силами чудесное мастерство кузнецов, дозволено понимать дух Огня, не боясь его мести. Но от рождения наречена она огненным именем. Имя ее, может быть, позволит ей прибегнуть к божественной силе самого Агни.

Пусть кузнец спросит у бога Огня, какая жертва угодна ему. Агния ни перед чем не остановится, принесет любую жертву, чтобы задобрить богов. Она хочет, она должна знать судьбу, ей предназначенную.

Почему кузнец не отвечает? Царица она в конце концов или не царица?

Дед Май молчал, опустив глаза, что-то обдумывая.

— Аримас,— строго позвал он.

Мальчик торопливо выбрался из-под вороха теплых шкур и, смущенно бормоча: «Мир тебе, царица»,— выскользнул из кибитки.

— Прикажи и твоему рабу оставить нас.

Нубиец шагнул в темноту вслед за мальчиком. Пока не упал откинутый его рукой полог, Аримас видел мертвенно-бледное, даже в свете пламени, лицо царицы и будто тень черных крыльев, взметнувшихся у нее за спиной.

Снаружи влажная темнота ночи была напоена тяжелым и пряным запахом трав. Ветер улегся. Стояла настороженная тишина, и слышно было, как потрескивают угли за войлоками кибитки.

Вдруг столб огня, разбрасывая искры, вырвался в черное небо через круглое отверстие над очагом, багрово подсветив рваные края низкой тучи. И сразу же сильный, странно незнакомый голос запел дико и протяжно, как поет разбушевавшееся пламя. А может, это пел вовсе не старый кузнец, а сам дух Огня, всесильный бог Агни явился перед людьми, разгневанный настойчивой просьбой молодой царицы.

Псы, подвывая по-волчьи, метнулись прочь от кибитки и унеслись куда-то во тьму.

Охваченный ужасом, мальчик прижался к недвижно стоящему рабу, расцарапав нос и щеку о жесткую кожу воинских доспехов. Нубиец опустил ему на плечи тяжелые свои ладони, и Аримас почувствовал, что пальцы раба дрожат.

Так стояли они, обнявшись, а голос огненного бога пел, то стонущим визгом взлетая к небу, то падал в темные травы, рыча низко и хрипло, пока не заполнил собой степь и небо над ней, и ничего уже не было вокруг, кроме трепещущего пламени в непроглядной тьме над кибиткой, и это пламя казалось языком, дрожащим в темной пасти поющего бога.

Тишина настала внезапно. Пламя упало. Темный горб кибитки торчал в посветлевшем небе. И в наступившей тишине раздался такой человеческий, такой страдающий голос женщины.

— Нет! Никогда! — крикнула царица.

Отшвырнув Аримаса, Нубиец рванулся навстречу этому голосу за полог кибитки.

[1] Эвксинский понт — древнее название Черного моря.

[2] Чепрак — покрывало. Седел и стремян в то время не знали, коня покрывали кожаным или войлочным чепраком.

Дед Май хохотал, как помешанный. Он задыхался от хохота, кашлял, бил себя кулаком по колену и опять хохотал, размазывая по лицу слезы. Нубиец, Аримас и царица сначала недоуменно смотрели на него, но самих тоже разобрало. Их смех почему-то совершенно доконал старика. Он повалился боком на шкуры у очага и только выкрикивал: «Ха! ха! ха!» — как бы отталкивая от себя что-то, его смешившее. Черный раб гудел басом, будто катил перед собой пустую бочку, Аримас взвизгивал и хрюкал, как поросенок, а царица, закинув голову, звенела чисто и непрерывно, словно ручей по камням.

А потом царица вдруг заплакала.

Дед Май сразу перестал смеяться и сделался необычайно суетлив. Он достал камешки бирюзы, растолок их в большой медной ступе и стал учить царицу, как подводить бирюзой глаза. И преподнес ей бирюзу и ступу вместе с пестом. Потом попросил кинжал с пояса раба и, принеся короткий меч, разрубил лезвие кинжала клинком этого меча, а меч пожаловал Нубийцу. Потом достал маленькую свирельку, хорошо играл на ней и опять довел царицу до слез. А после учил царицу играть на свирельке и свирельку тоже подарил.

Агния уехала от него веселая, и до самого рассвета удивленное становище слушало сквозь сон ее неумелую игру на этой дедовой свирельке.

В ту ночь бог Агни устами старого кузнеца потребовал у царицы за раскрытие тайны ее жизни принести ему в жертву черного царского раба.

Новости не любят сидеть дома. Слух о богатствах нашего племени, петляя в высокой траве степей, перепрыгнул через волны трех рек и зацепился за корявые ветки мелколесья в стране андрофагов [1].

Дикие андрофаги не признавали скифских обычаев. Плосколицые, одетые в меха воины рыскали в степях на своих низкорослых выносливых конягах, совершая внезапные набеги на соседние племена. Андрофаги похищали женщин, с которыми обращались, как со скотиной, угоняли табуны и стада, грабили и разрушали становища.

Вместо того, чтобы украшать узду боевого коня пучком длинных волос, снятых с темени побежденного, как и подобает делать воину, андрофаги жарили тела своих поверженных врагов на кострах и поедали, как дичину.

Любой сколот с детства слышал об андрофагах. Матери стращали непослушных детей: «Вот подожди, придет андрофаг».

И андрофаг пришел.

Незадолго до рассвета я погнал табун к утреннему водопою.

Лошади, пофыркивая, легко шли, ширкая ногами в мокрой от росы траве. Туман, искристый, белесовато-розовый, еще не поднялся от земли, скрывая за призрачной своей завесой тихую перекличку бледных степных цветов. Иногда какой-нибудь жеребенок, играя, отскакивал прочь от плотно идущих лошадей, и тогда его след темным извивом ложился в мокрой траве, прорывая покров тумана и обнажая густые переплетения крепких стеблей.

Такой же, только прямой, как стрела, след тянулся за скачущим сбоку табуна Светлым, и далеко-далеко в начале этого следа вспыхивал и клубился, пробивая туман, первый солнечный луч.

Когда мы достигли берега, туман уже поднялся, и отражения лошадей, четкие, яркие, необыкновенно чистые, легли в недвижную, казалось, воду.

Старая белая кобыла с провалленной спиной, волоча по гальке желтоватый, тонкий у репицы хвост, тронула воду губами, мотнула, роняя брызги, тяжелой головой, туго обтянутой кожей, и смело, первая вошла в реку. За ней, шумно будоража гладь воды, устремился весь табун.

Я соскользнул с горячей спины Светлого, лег на грудь, упираясь ладонями в мокрую хрустящую гальку, и тоже напился рядом с конем. Потом расстелил потертый чепрак в тени береговой кручи и растянулся на нем.

Табун стоял на мелководье. Лошади, подремывая, лениво обмахивались хвостами. Жеребята задирали друг друга, но не решались далеко отойти от матери. Только молодые нежеребые кобылицы стайкой вышли на берег и прохаживались, теснясь, пугая подруг и сами притворно пугаясь, только для того, чтобы вдруг закосить глаза, всхрапнуть, раздувая ноздри, взбрыкнуть стройными, сильными ногами и промчаться круг-другой, откинув хвост, выгнув шею, радуясь и гордясь своей молодой необъезженной силой и красотой.

Теперь было заметно, что течение на мелководье быстрое. Река морщилась и урчала, пробираясь на открытый простор среди множества лошадиных ног. Высокие ноги лошадей, уставленные прямо и слегка наклонно, похожи на стволы деревьев, а тела, хвосты, гривы подобны причудливым переплетениям тяжелых крон. Табун напоминает рощу, где деревья стоят тесно, но вытянувшись в линию.

...И правда, это роща, и сам я бреду меж стволов по колено в воде. Ноги то вязнут в донном песке, то оскальзываются на гальке.

Какие маленькие деревья! Я касаюсь рукой одного из стволов, поднимаю голову. Ствол уходит в вышину, и там, высоко, сквозь густую крону едва пробивается солнце. Нет, роща не маленькая, просто я — большой. Стволы растут все теснее и теснее, я уже с трудом протискиваюсь между ними. Там, впереди, в узкие просветы я вижу Агнию Рыжую, мою царицу. Она стоит, уронив руки, и смотрит на меня молча, в упор. Вода, урча, поднимается все выше и выше. Вода ей уже по грудь. Но Агния этого не замечает, она смотрит только на меня. Я хочу крикнуть, предостеречь, но голоса нет. Я рвусь к ней среди нагромождения стволов, оступаясь в глубокой воде. Вода прибывает, вода ей по горло. Длинные пряди золотых волос колышутся, погружаясь.

Еще одно усилие, и я спасу ее, прекрасную мою царицу. Стволы медленно сжимают мне грудь, я не могу вырваться, я задыхаюсь.

Голова Агнии, подхваченная потоком, покачиваясь, отдаляется от меня. Агния улыбается. Ее лицо мелькает среди дальних стволов, пока не скрывается навсегда. И тогда я кричу, свободно, отчаянно и страшно...

...Чей-то крик, протяжный и дикий, сорвал меня с чепрака, на котором я уснул. Одуревший спросонья, я смотрел, как табун, пеня воду, скакал вон из реки. Грохот ударявших по воде и камням копыт, испуганное ржание и крик, страшный этот крик.

Я испугался. Я видел плоские лбы обезумевших лошадей, плотным рядом надвигавшихся прямо на меня. Видел их растрепанные гривы, круглые копыта, взлетающие в бешеной скачке.

Я побежал что было сил вдоль берега, чтобы успеть пересечь путь скачущему табуну и не попасть под копыта. Табун надвигался стремительно, я уже не чувствовал под собой ног, когда глухой грохот накрыл меня, гортань обдало едким запахом конского пота и передо мной мелькнула ощеренная,

[1] Андрофаги — кочевое племя.

запрокинутая морда кобылицы с вывернутым белком глаза.

Тупой удар в плечо поднял меня в воздух, и я кубарем покатился в траву. И я увидел их. Только они могли кричать так страшно. Припав к шеям своих низкорослых коняг, андрофаги вынеслись из-под берега. Их было двое. Обгоняя их, высоко вскидывая ноги, скакал мой Светлый.

Мысль, что я могу потерять его, отогнала страх. Я вскочил на ноги и призывно засвистел. Светлый круто свернул ко мне, не замедляя скачки. Одним прыжком, ухватившись за гриву, я взлетел на спину коня. Я думал, что андрофаги бросятся ловить меня, и был уверен в резвости своего скакуна. Собравшись в комок на холке, я пустил Светлого полным махом. Стрела с визгом рассекла воздух, ожегши оперением ухо. Я нырнул под грудь жеребца, обхватив ногами широкую шею и вцепившись немеющими пальцами в космы черной гривы. Мне было видно, как андрофаги съехались вместе, остановились и вдруг, взмахнув плетьми, пустились в угон табуну.

Еще не рождала степь скифа, который без боя уступит врагу коней.

Я уже закончил первый круг лет [1], был ловок и силен, но безоружен. Что я могу совершить, безоружный, против двух зрелых воинов? Я даже не успею предупредить своих, как андрофаги угонят царский табун, которому нет цены.

И я решил. Я погнал Светлого к древнему могильному кургану.

Обливаясь слезами бессильной ярости, обрывая ногти, я отрыл заветный меч и сжал в ладони костяную рукоятку.

Я молил бога Папая испепелить меня самой яркой из своих молний, если я не смогу умереть, как мужчина.

Потом я снова вскочил на Светлого. Ветер ударил в лицо, размазывая слезы.

Агой!

Светлый, приседая на хвост, съехал по осыпи на глубокое дно старого, высохшего русла и поскакал по плотному песку, перепрыгивая через наполненные мутной водой промоины.

Если успею к табуну раньше андрофагов, погоню лошадей в сторону нашего кочевья, а если не успею... Мерный глухой перестук копыт послышался, приближаясь, впереди справа. Значит, андрофаги догнали и повернули табун. Я придержал Светлого. Лошади скакали по-над краем песчаной кручи, обламывая травянистую кромку. Я повернул Светлого и, прикрытый высоким берегом, во весь дух помчался обратно, высматривая, где можно поскорее выбраться наверх к табуну.

Светлый, роняя хлопья желтоватой пены и екая селезенкой, наконец вскарабкался по откосу и сразу оказался сбоку скачущего табуна. Старая белая кобыла прянула в сторону и сорвалась с обрыва, подняв столб пыли. Я направил Светлого прямо в табун и снова соскользнул коню под грудь. Тяжелый меч в истлевших ножнах, болтаясь, колотил его под брюхо, сбивая равномерный скок.

Снова, но теперь ласковый и успокаивающий, голос андрофага послышался справа по ходу табуна. Лошади, тесно сгрудившись, стали уклоняться от высохшего русла. Андрофаги перекликались над головами лошадей, держась по краям табуна.

Я снова распластался на спине Светлого и, подобрав поводья, придерживал его, пока не оказался в густой пыли за табуном. Тогда я выдернул меч из ножен и пустил жеребца вперед между табуном и обрывом. Спина всадника, прикрытая волчьим мехом, возникла из пыли внезапно. Черные волосы, заплетенные в тонкие косицы, прыгали по широким плечам.

И оборвался стук копыт. И замерли на бегу кони. И ветер, остановив полет, разбросал в клубах пыли растрепанные гривы и хвосты лошадей.

Медленно, очень медленно я поднял и опустил меч на затылок врага. Рукоятка выскользнула из потной ладони, клинок, повернувшись, ударил плашмя. Горячий ужас волной окатил меня. И сразу же закопыхались конские гривы, заклубилась пыль, и перестук копыт ворвался в уши. Наши кони, поравнявшись, скакали бок о бок. Андрофаг поднял ко мне широкое, маслено блестевшее плоское лицо. И тогда я прыгнул на него с коня, торопя свою смерть.

Степь стала на дыбы, закрыв небо. От удара о землю я потерял сознание.

...Чье-то горячее дыхание коснулось моего лица. Я очнулся. Светлый, тяжело дыша, стоял надо мной.

Я лежал на теле врага, вцепившись в жесткую шерсть волчьей куртки. Андрофаг был неподвижен. Голова его неестественно повернулась, и темные узкие глаза без всякого выражения смотрели куда-то мимо меня. Я оглянулся.

Пыль осела. Никого.

Дикая ненависть к врагу, заставившему меня пережить смертельный ужас, овладела мной. Я рванул вонючий мех волчьей куртки и, подобравшись зубами к короткой шее за ухом, отведал вражьей крови. А когда поднялся, в глазах вспыхнули и расплылись багровые круги.

Меня нашли под вечер табунщики, без памяти лежащего на теле мертвого андрофага.

...Набег дикого врага стал неотвратим, наше племя обречено на гибель. Сколоты, давно оставленные зрелыми воинами, не выстояли бы в смертельной схватке.

И тогда Агния Рыжая, царица, выступив на совете старейшин, поклялась нерушимой клятвой освободить всех наших рабов, если они с оружием в руках, плечом к плечу со сколотами, выйдут защищать жизнь, честь и имущество племени.

Рабы в то время превосходили нас числом, среди них были опытные в прошлом воины, и только сознание того, что, убежав, они все равно погибнут, пробираясь через земли скифских племен, удерживало их в покорности.

Старики скрепя сердце одобрили царицу. Рабы, возликовав, ответили клятвой. Все, кто мог держать в руках оружие, вооружились, сели на коней и встретили набег. Огромный курган насыпали мы потом над павшими в этой битве. И долго еще в степи по ночам озверевшие наши псы грызлись с волками над трупами андрофагов.

Но странно: обретя свободу ценой жизни, рабы только небольшим числом оставили племя и ушли пробиваться через степи к родным очагам. Многие, теперь свободные, остались с нами.

И Черный Нубиец, залечив полученную в битве рану, по-прежнему повсюду сопровождал Агнию Рыжую, нашу царицу.

Каждый год большая белая птица прилетает в страну иирков от крайних пределов земли. И каждый раз какой-нибудь неосторожный охотник поражает белую птицу не знающей промаха стрелой. Но охотничья стрела никогда не убивает сразу, а прочно застревает в пышном оперении крыла. И тогда раненая птица летит прочь из страны иирков,

[1] Круг — двенадцать лет.

испуганно взмахивая большими крыльями, пытаясь освободиться от застрявшей в оперении стрелы.

И там, где пролетает белая птица, сыплется с неба ее легкий белый пух и покрывает им землю и все, что есть на земле.

Изнемогает раненая птица, холодеет ее дыхание, и стынут воды рек и озер, над которыми она пролетает.

И лишившись сил, падает белая птица в черные волны Эвксинского понта, и долго ее белые перья, рассыпавшись, вздымаются на гребнях волн, пока не отогреется земля и не утихнет взволнованное падением птицы море.

С наступлением зимы мы, сколоты, оставляем пустым становище и уходим вниз по течению Борисфена. Там, у соленой воды Меотийского озера[1], ждем мы улыбки Солнцеликого, и с первым теплом возвращаемся назад в родные степи.

...Что с тобой, Агния Рыжая, моя царица?

Перистые снежинки опускаются на длинные твои ресницы, тают, скатываясь блестящими каплями по щекам, за широкий ворот меховой куртки, холодя шею.

Разве не за тем съехала ты в глубокий снег с умятой копытами и колесами дороги, чтобы хозяйским глазом оглядеть тянущийся мимо тебя поход племени?

Но ты не чувствуешь холода, не замечаешь ни всадников, ни коней, ни упряжных волов, ни погонщиков, ни кибиток. Лицо, будто вырезанное из куска черного дерева, неотступно видишь ты перед собой. Прозрачной синевой отсвечивают белки темных бездонных глаз. Восторг. Ужас. Нежность. Боль. Страх. Надежда. Пустота.

Ты рабыня, царица. Ты презреннее рабыни, потому что ты — рабыня раба. Так благодари же, благодари царя Мадая за такой подарок!

Ледяная капля, скользнув под мех, обожгла грудь. Ах, как хочется оглянуться! Ведь он позади тебя, он рядом, твой телохранитель.

Но нельзя, нельзя!

И ты вбиваешь пятки в обындевевшие бока кобылицы, чтобы не встретить взгляды стариков и ветеранов, отряд которых замыкает растянувшиеся обозы похода.

— Молитесь за меня богу Агни,— со слезами на глазах попросила царица женщин.

Ночь, день и еще ночь, не угасая, горят большие костры вокруг царского шатра. Крутит ветер снежную пыль, треплет высокое пламя, уносит в гулкую тьму голоса женщин.

Закутанный в меха Нубиец черной тенью вырисовывается у входа в шатер, покачивается из стороны в сторону, навалившись всей тяжестью на крепкое древко копья.

Женщины поют, потом, устав, замолкают, чутко прислушиваясь к глухим стонам, вылетающим из царского шатра, и снова запевают громко и отчаянно.

Мужчины бродят безо всякой цели за освещенным кругом, остервенело пиная лезущих под ноги псов, останавливаются, сойдясь, коротко перебрасываются словами, понижая голоса, и снова разбредаются, поглядывая на красный верх шатра.

То и дело из пурги возникает всадник. Подскакивает, раскидывая снег и грязь, к освещенному кругу, осаживает коня, склонившись с конской спины, шепотом спрашивает о чем-то у женщин и снова уносится в пургу, к табунам, огрев коня плетью.

Ветер, налетев, рвет слова древней молитвы:

— Ты — недремлющий... ающий... лютого зверья... нас самих, детей наших, скот наш... Агни... ликий...— в который раз заводят женщины и смолкают.

Заскулила собака, видно, получив крепкий пинок. Снова заскулила, будто заплакала. Ой, собака ли это скулит?

Нубиец выпрямился, перестав раскачиваться. Женщины, обойдя костры, приблизились к шатру. Мужчины вышли из темноты в освещенный круг. На подскакавшего всадника зашипели, он соскользнул с коня, взял его под уздцы. Люди вслушивались, задержав дыхание.

В шатре, теперь уже бессомненно для всех, слабо и жалобно заплакал младенец.

И тогда, словно кто-то толкнул их в спину мощной ладонью, люди устремились к шатру. Толпа отшвырнула Нубийца, он упал в снег. Люди валились на него и лезли в шатер, наступая на спины упавших. Шатер наполнился до отказа. Задние наваливались на спины стоявших впереди, но те уже сдерживали натиск, упираясь пятками и выгибая спины.

Агния, разбросав космы потемневших от пота волос, обессиленная, наспех прикрытая, лежала навзничь на шкурах у самого очага. Две старухи, стоя на коленях, склонились над большой чашей, омывая новорожденного младенца теплым кобыльим молоком и загораживая его от людских взглядов.

Нубиец, помятый и ушибленный, отчаявшись протиснуться вперед, вытягивая шею, смотрел над головами столпившихся, как разошлись старушечьи спины, как высохшие старые руки подняли и показали толпе новорожденного ребенка — чернокожую девочку. Толпа ахнула. Слабое пламя очага метнулось и угасло. В наступившей темноте все головы повернулись к выходу. Курчавая голова и широкие плечи Нубийца отчетливо выделялись в разрезе открытого полога, за которым весело кружился подсвеченный кострами снег.

— Выйдите все! — вдруг властно сказал Нубиец, неправильно выговаривая скифские слова.— Она может задохнуться.

Тут только люди почувствовали, что в шатре стало нечем дышать.

В ту же ночь, не принеся благодарственных жертв богу Агни, старики и ветераны, оставив семейные кибитки, ушли от царского шатра у берегов Меотийского озера к табунам и стадам, уведя за собой всех юношей.

Они разбили боевой лагерь на расстоянии одного конного перехода от кочевий племени, выставили стражу и стали совещаться.

Под утро пурга внезапно улеглась, и Солнцеликий, явившись из-за пределов земли, вдруг одарил мир улыбкой, сразу растопившей снежный покров и обогревшей легкое дыхание ветра. Смущенные было суровым отступничеством мужчин, женщины несказанно обрадовались доброму этому знаку, связав его с рождением черной девочки, и, переговорив, решили открыться в том, что давно таили.

Собравшись во множестве, они отправились к боевому лагерю стариков и ветеранов. Они легко шли веселой гурьбой, радуясь вздувшимся по-весеннему водам реки, отыскивали по дороге и указывали друг другу тоненькие зеленые стебельки молодой травы, выбившиеся из-под земли среди ржавой завали прошлогодних трав.

Женщины редко бывают в чем-либо уверены до конца. Но если такое случается, ни уговорами, ни угрозами, ни стойким долготерпением мужчине не победить эту уверенность. Так было и на этот раз.

---

[1] Меотийское озеро — Азовское море (древнее название).

— Эй вы, герои! Великие воины бога Палая, оставившие нас, чтобы совершить ненужные нам подвиги в неведомых нам странах! О нас, ваших женах, вы подумали? Или вам кажется, что драгоценные безделушки, под которыми гнутся спины караванных ослов, смогут заменить нам мужчин? Вы подумали о матерях, у которых отнимаете для своих диких забав сыновей — многие из них никогда не вернутся к родному очагу или вернутся калеками. Вы подумали о дочерях ваших, которые стареют, так и не узнав мужней любви и счастья деторождения? Может, любовь калеки, по-вашему, большое счастье? Что вы напялили свои раззолоченные панцири, вояки? Разве ваши мечи смогли защитить нас от андрофагов? Нас защитили рабы, которых вы сами объявили свободными! Или вы не клялись нерушимой клятвой вместе с нашей царицей?.. Семнадцать долгих лет, как милости, ждем мы возвращения своих мужчин, а они и не вспоминают о нас. Не вы ли, пьяные, похвалялись любовью к грязным чужим бабам в проклятых каких-то странах? А в это время мы, женщины, вместе с рабами берегли ваши табуны, ваши стада, трудясь за вас, мужчин... Наши мужчины забыли о нас, а мы забудем о них. Мы будем делить ложе с теми, с кем делим труд и пищу, радости и опасности! А вы не скифы больше, вы просто трусы! Вы все давно знаете, что мы тайно поднимся с рабами, и от бессилия только прячете голову под крыло, как глупые птицы. Раскройте ваши глаза: сам Солнцеликий посылает нам свое одобрение!

Так кричали женщины онемевшим от ярости и обиды старым воинам.

А потом вперед выступила пожилая полногрудая скифянка и позвала юнца, торчащего по причине высокого роста из-за спин стариков.

— Гайтор, бедный мой сыночек! Ты бы не появился на свет, будь твой отец скифом. Настал час, и я скажу тебе: ты сын Белоглазого Кельта! Да, да,— и увидев, что у юнца отвалилась челюсть, закончила требовательно: — Иди сейчас же домой! Твой отец всю ночь отбивал табун от волков не хуже любого скифа. Ты можешь гордиться своим отцом: он свободный человек и не даст нас в обиду.

Товарищи юнца с презрением отступили от него, и тогда несколько женщин разом заголосили, перекрикивая одна другую:

— Ашкоз! Спутан! Масад! А вы что думаете, что родились от дуновения ветра? Ваши отцы ждут вас у родных очагов и будут рады обнять своих глупых сыновей!

Обратно женщины возвращались, уводя с собой толпу потрясенных юношей.

Слава тебе, царица Агния Рыжая! Такого полного поражения скифского мужества не могли припомнить даже самые ветхие и злопамятные старики!

— Царица родила черного ребенка! — еще издали крикнул я, колотя без нужды пятками обросшие длинной шерстью, запавшие бока Светлого.

— Благодарение великому Агни,— торжественно отозвался дед Май.

Он стоял у кибитки, с сомнением оглядывая белого бычка с испачканным в навозе боком, которого Аримас крепко держал за скрученную ремнем губу. Судя по всему, дед и внук не собирались уходить из кочевья, несмотря на решение старейшин. Да еще вопреки запрету готовились принести жертву богу Агни.

— Не чтущего щедрой милости великого бога постигнет его гнев,— угадал мои мысли старый кузнец и вдруг, растопырив седую бороду, заорал на Аримаса:— Ну, что стоишь, как баран на солончаке?

Аримас вздрогнул и, торопясь, стал обтирать ладонью замаранный бок скотины.

Старый кузнец протянул мне крепкий витой аркан и короткую толстую палку. Я спешился, принял из рук деда жертвенное орудие и присоединился к Аримасу. Вдвоем мы натянули аркан через комолую голову на шею бычка и укрепили за ремнем палку. Дед Май, мерно помахивая куском негнущейся старой шкуры над тлеющим костром, слезясь и чихая от дыма, поднял пламя.

— Пора!

Мы подтащили упирающегося бычка к огню.

— Слава тебе, великий бог Агни, прикоснувшийся огненной рукой своей к новорожденной царевне! — торжественно выговаривал дед Май.— Тебе, недремлющий, посвящаем мы это незапятнанное животное. Прими нашу жертву с миром!

Старый кузнец ухватил почерневшей могучей рукой конец палки и двумя поворотами туго сдавил аркан. Бычок рванулся, вывалил язык, выпучил глаза и рухнул у самого огня, опалив шерсть.

— Благодарю тебя, огненный бог!

Мы с Аримасом освежевали бычка, дружно работая ножами, срезали мясо с костей, туго набили им бычий желудок и повесили над костром. Собаки, толчась вокруг, жадно глотали пропитанный кровью снег.

Только когда дед раздал всем по куску жарко дымящегося варева, мы снова смогли заговорить.

Ловко орудуя ножом и тонкими, измазанными жиром пальцами, Аримас набил полный рот и невинно спросил у деда:

— А если бы бог Агни не прикоснулся к младенцу, царевна родилась бы белокожей? — И незаметно для деда озорно подмигнул мне.

— Все может быть,— очень серьезно отвечал дед Май.— Случается, что у мудрого деда рождается внук-дурачок.

И когда мы весело и освобожденно расхохотались, дед добавил сурово:

— В эту ночь и пока не разрешу — от кибитки ни на шаг. Я не хочу потерять своих внуков, хотя бы и дурачков.

Старый кузнец не зря тревожился. Старики спешно разослали гонцов во все соседние становища. Гонцы вернулись обескураженными: женщины повсюду приветствовали союз царицы и черного раба и открыто ликовали.

Тогда старики со всякими предосторожностями снарядили в долгую дорогу тайного посланца к самому царю Мадаю.

Но, видно, боги потешались над стариками. Иначе как объяснить, что женщины, чудом прознав о намерении стариков, выследили тайного посланца далеко от кочевий, настигли после бешеной скачки, заарканили, как скотину, сдернули с коня и забили насмерть.

Это случилось под вечер второго дня после рождения черной царевны. А ночью толпа вооруженных, теперь свободных рабов, в пешем строю, светя факелами, ворвалась в боевой лагерь продолжавших упорствовать стариков и вырезала всех, кто не успел сесть на коня и ускакать в степь.

В руках рабов оказалось богатое и разнообразное оружие, предусмотрительно свезенное в лагерь ветеранами.

Уцелевшие старики, мучась ненавистью и страхом, под конвоем рабов вернулись в кочевье и поспешили принести запоздалые жертвы разгневанному богу Агни. Бывшие рабы единодушно избрали

Черного Нубийца верховным вождем и принесли ему клятвы, каждый согласно своим обычаям и богам.

Так мы, сколоты, по воле бога Агни приняли в себя кровь многих народов, а наши боги, потеснившись, дали место другим, незнакомым нам богам.

Глава вторая

Первые годы Мадай тосковал о Скифии. Каждого вновь прибывшего из скифских степей царь приглашал в свой боевой шатер, обильно угощал, жадно выслушивал и расспрашивал, входя во всякие подробности. Особенно внимателен и нежен он бывал со скопотами, привозившими ему новости из родного становища. Он бережно растирал в ладонях сухие венчики поднесенной в дар ковыль-травы и с волнением глубоко втягивал расширенными ноздрями горький степной дух.

Гости, отчасти желая удовлетворить любопытство царя, отчасти стремясь угодить ему, рассказывали, сгущая краски и возвышая тона, о боевой готовности юнцов принять участие в будущих походах царя, о радости женщин и стариков от щедрых даров царских караванов и, конечно, восторженно и благоговейно, о красоте и ранней мудрости молодой царицы и о великой ее любви к нему, Мадаю Трехрукому, царю над всеми скифами.

Обычно Мадай в конце концов напивался вместе с гостями, требовал звать песенников и, подпевая старым скифским песням, плакал умиленными пьяными слезами. Гости уходили из шатра, очень нетвердо держась на ногах, то и дело роняя по пути дорогие дружеские подношения царя.

Но со временем однообразные рассказы Мадаю прискучили, подробности надоели, да и приток пополнения в скифское воинство становился редок и малозначителен. Гости, пиры и песни в царском шатре прекратились как-то сами собой.

Агнию Рыжую, скифянку, жену свою, Мадай почти не запомнил с той далекой ночи. Он представлял ее себе уже только по рассказам, а скоро и это бесплотное представление сильно поблекло и совсем улетучилось из памяти. Да и Агния Рыжая, не забывшая Мадая, теперь не узнала бы его.

Он стал пренебрегать простой и привычной скифской одеждой, носил на плечах пестрый плащ-павлин, накинутый на легкий, тонко, но прочно кованный панцирь. Седеющие бороду и волосы подкрашивал анимонием, старательно начесывая длинную прядь на бугристый розовый шрам, оставшийся справа вместо уха, отсеченного на стенах горящей Ниневии. Зато в мясистой мочке левого уха теперь покачивалась усыпанная рубинами, тяжелая серьга из драгоценного красного золота.

Он располнел, обрюзг, широкий, изукрашенный золотыми пластинками пояс постоянно сползал ему под живот, и только меч-акинак по-прежнему висел в истертых старых ножнах, и отполированное в ладонях старое костяное навершье по-прежнему говорило о прозвище «Трехрукий».

Не только доведенные до отчаяния защитники Ниневии — матери городов — видели обнаженным этот страшный меч.

Он летел впереди скифских орд по всей Месопотамии и указывал скифам путь в Заречье.

Жители Урарту, Манну и Хатту помнят его смертоносный взмах. Он сверкал на широких улицах Аскалона, в разгромленном Рагуплите, в многострадальном Хорране.

Ассирийцы, вавилоняне, лидийцы, мидяне, иудеи, египтяне — враги и союзники — равно страшились безудержного набега скифской конницы, осыпающей противника тучами стрел, разящей пиками, сокрушающей мечами, топчущей поверженного врага копытами диких и быстрых своих коней. Разгром довершали лохматые звероподобные псы, явившиеся вместе со скифами от берегов Борисфена.

Но теперь ярость открытой борьбы остывала, как раскаленный добела клинок в родниковой воде. Враги разгромлены, союзники вежливы, как бедняки у чужого костра. Храмы чужих богов были разграблены. Но боги остались.

В великой своей гордыне Мадай стал тайно примерять к себе чужих богов и, не испытывая к ним ни уважения, ни страха, думал силой или обманом принудить их служить его, Мадая, удаче.

А пока, определив сильные гарнизоны в покоренные города, царь окунулся в развлечения, не забывая, однако, аккуратно отправлять на родину караваны с богатой добычей.

Лидийский царь Алиатт, сын Садиатта из Сард, первым принял скифских вождей в своей столице с невероятной пышностью и почетом. Глубоко пряча болезненное самолюбие под маской добродушной веселости, молодой, но уже искушенный дипломат, Алиатт окончательно завоевал доверие скифов широким размахом в празднествах и искусной простотой в обращении.

Зная любовь скифов к коням и угадав в Мадае прирожденного лошадника, Алиатт распахнул перед ним двери царских конюшен. На много дней забыв пиры и утехи женской любви, Мадай целиком отдался извечной страсти вольного кочевника. Царские конюшни были превосходны. У Мадая разбегались глаза, он потерял аппетит и обидно протрезвел. Наконец его восторги обрели прямую цель. Он остановил свой выбор на злой вороной кобыле местной породы, горбоносой и вислозадой, похожей на хищную птицу и, как птица, быстрой. Он знал, что Алиатт не откажет ему, но все-таки гордость мешала первому намекнуть о подарке.

Лидийский царь зорко следил за скифским царем и сумел ловко подвести разговор к вороной кобыле. Мадай признался, что видел во сне, будто он скачет на этой кобыле по родным степям. Алиатту ничего не оставалось, как немедля выполнить указание богов. И Мадай, торжествуя, узнал, что вороная кобыла — его. Но Алиатт не хотел, чтобы Мадай думал, будто он дарит другу то, что определили скифскому царю в подарок сами боги. Алиатт не смеет равнять себя с богами. У него есть для гостя свой подарок. Пусть все убедятся, как высоко он, Алиатт, ценит дружбу скифского царя.

О, Таргитай, отец всех скифов! Может быть, только у тебя был конь такой красоты и силы. Не оскудела еще Нисса прекрасными конями! Какая стать, что за маленькая сухая голова, а шея — широкая и плоская, как лезвие секиры. Ноги, круп, плавный изгиб от холки до хвоста — все без изъяна. Да этот жеребец дороже золота, а может, он и вправду золотой — какая масть!

Мадай чуть не задушил в объятиях Алиатта, сына Садиатта.

— Одарить его золотым оружием! Вина! Эй, други, поднимите его на плечи и несите в пиршественную залу. Он брат наш на все времена!

И веселье вспыхнуло с новой силой. А пока вожди разоряли пиршественный стол, отборный скифский отряд уже готовился в далекую и желанную дорогу. Воинам было строго наказано без промедления вести ниссейского жеребца к берегам Борисфена, чтобы он дал начало новому роду царских коней в скифских степях.

...О мидянах говорипи так: «Еслн ты беден н хочешь разбогатеть, купи мидяннна за то, что он стоит, и перепродай за то, что он о себе думает».

Весь род царя мидийского Киаксара, сына Фраорта, внука Дейока, славился своимн причудами. Выдумки, одна чудней другой, постоянно посещалн рано оплешивевшую голову царя, толпипись в ней, как овцы у колодца, и своим громким блеянием настойчиво требовапи скорейшего воплощения. И царь воппощап.

Именно позтому считалось, что в Мидии никого ничем непьзя удивить. И вправду, где еще увндишь такое: высоко в небе, у края обрыва над водой обмелевшего озера, висит на золоченых цепях огромное колесо. Витые столбы круглой галереи поддерживают над колесом ажурный шатер споновой кости.

Залезай под самое небо, гостем будешь. Пожелаешь — и колесо медленно закружнтся, как живое. А ты сиди себе, обложенный расшнтыми атласнымн подушками, пей густое приторное вино миднйских виноградников, жуй орехи в меду, вдыхай запах благовонного розового маспа, пока не закружнтся твоя гопова и не станешь ты блевать на узорные ковры тонкой персианской работы. Эту выдумку свою царь Киаксар назвал «Ласточкнно гнездо».

Туда-то и уединился царь, чтобы привести в надпежащнй порядок мыслн, готовые на зтот раз разнести его крепкую гопову.

Последнее время в Междуречье творнлось неладное. Старые скифские вожди молодо веселнпись у лидийцев в Сардах, а под стены древнего Вавилона грозно подступапа скифская моподежь. Отряды скифской конницы вытаптывали посевы, сгоняя земледельцев за городские ворота. Появившихся на стенах вавилонян скнфы осыпали особымн стрелами, издававшими при полете устрашающий свист. Давно изучая скнфов, Кнаксар бып склонен рассматрнвать зти напеты как буйное проявпение боевого азарта молодых воинов н советовал своему зятю, царю Вавнлона, укротнть их, снесясь с Мадаем.

Но Навуходоносор в Вавипоне думал иначе. Он немедпя принялся укреплять оборонные рубежи, готовясь к новой войне. И сейчас прислал к нему, Киаксару, доверенного человека, приведшего мысли царя мидян в ужасный беспорядок.

Вот что доносипи вавилонские шпионы: Мадай, царь всех скифов, тайно жаждет священного вавилонского престола. Он, варвар, готов прислониться к алтарю великого бога Мардука, лишь бы его чудовищные планы сбылись. Мадай уговаривает Алиатта Лидийского помочь ему военной силой и обещает долю в добыче. Алнатт колеблется... Этого мало. Иудейскне пленники Вавилона заверяют Мадая в своей поддержке, если он гарантнрует нм сохранение жнзни и свободу.

Навуходоносор помнит, как он, Киаксар, будучн семнадцать пет назад в союзе с отцом Навуходоносора Набопапасаром, отвел ужас скифского нашествия, бесстрашно явившись в лагерь Мадая н объявив себя кпиентом[1] и данником скифского царя.

Соппивый мальчишка! Он не упустнп спучая напомннть Кнаксару о давнем унижении.

Навуходоносор просит его, своего тестя, верного друга Вавипона (ага, теперь сам унижается!) найти способ избавнться от скифов и на зтот раз, а если такой способ не откроют боги, дать Вавнпону вспомогатепьные войска и не медпить.

Киаксар подошеп и оперся на перила гаперен. Под ним, низко над озером, летепа стая каких-то птиц. Вдруг сокол черной молнией упал на вожака, расшиб его так, что брызнули перья, и подхватил жертву в когтн над самой водой. Стая, заметавшнсь, броснпась врассыпную.

Киаксар вздрогнул и заспешип покинуть «Ласточкино гнездо».

Он сразу приняп решение, топько сомневапся в одном — скопько запросить в случае удачн с зтого мальчншки, царя Вавилона. Уже идя навстречу тайному поспанцу, определип: «30 талантов[2] зопота. Даст. Обязательно даст».

Скифские вожди сразу откликнупнсь на любезное прнглашение старого друга, царя мндян. Гарем Кнаксара славипся дапеко за пределами Мидни. Лучшне публичные дома Вавипона не шли нн в какое сравнение с затеями мидийского гарема. Нет, совсем не все равно, где н с кем пить н безобразничать. А старый друг, видно, напуган и готов на все.

Здравствуй, «Ласточкино гнездо»! А ну, покрути нас, Киаксар, мы посмотрим, смогут ли мидийские женщины сильнее вскружить нам головы.

Эй, мндийские вонны, верные союзники! Мы дрались бок о бок, давайте н пнть вровень. Если гость напьется у вас в доме — он верит вашей дружбе. Так считают у нас в степях.

В разгар пира Киаксар прижап платок к губам и, притворившись захмелевшим, вышел нз-за стола. Это был условный сигнал. Мидяне выхватили спрятанное под одеждой оружие.

Сперва — Мадая. Надетый под просторный плащ панцнрь удержал острие предательского кннжала. Нет, не за тем Мадай, прозванный Трехрукнм, поднялся царем над всеми скнфамн, чтобы его можно бып зарезать, как ягненка для трапезы. Мадай даже не оглянулся на убийцу. Одним пьвнным прыжком перенес он погрузневшее тело через стоп, в самую гущу мидян, стоппившихся против него.

Вырвать меч у первого растерявшегося врага бып делом одного мгновения. Хруст выпоманной из плеча рукн, крнк бопи, н второй вонн рухнул с разрубленным лицом, оставив свой меч Трехрукому. И встал Мадай над пиром с двумя мечами в руках.

Навсегда запомните вы, мидяне, кровавый ваш пир. Позор вашей подпостн переживет века, вцепившись, как репей, в хвост скифской спавы!

— Агой!

И метнулось пламя светнпьников от древнего боевого клича. Завертелось в руках Мадая блестящее копесо смерти. Не одна отчаянная голова, сунувшаяся остановить стальное зто колесо, покатипась по дорогим коврам под ноги дерущимся. Тяжепые блюда, острые горловины расколотых амфор, подушки, скамьн — все стапо оружием. Пронзенные мечамн скифы последним живым усилием притягивали к себе врага, погружая клинок в свое тело по самую рукоятку, и умирали, не размыкая объятий, по-волчьи сцепнв зубы на горпе предатепя.

Но снлы были спишком неравны. Скоро топько горстка скифов, сумевших завпадеть оружием, спина к спине отбивалась от наседавших со всех сторон мидян.

— Опрокидывайте светильники! — вдруг, задыхаясь, прохрнпеп Трехрукнй, н сам пнуп ногой кованый треножннк.

Горящее маспо, шипя, хлынуло на ковры навстречу наступавшим. Мидяне отшатнупись. Это спаспо скифов. Валя светнльникн, они выскочили из рокового кольца и, не выпуская нз рук оружня, прямо

---

[1] Клиент — так называли зависимых от кого-либо лиц.

[2] Талант — самая крупная в древием мире весовая и денежная единица.

с высоты галереи бросились вниз, скатились по обрыву и побежали в мелкой воде вдоль берега, стараясь не потерять друг друга в непроглядной темноте. Когда обогнули озеро, Трехрукий остановился. Погони не было. Багровое зарево пожара, трепеща, расползалось по темному небу. Трехрукий усмехнулся. Это горело «Ласточкино гнездо».

Страшной клятвой поклянется в ту ночь Мадай отомстить Киаксару за предательство. Пять мучительно долгих лет будет ждать Мадай в скифских степях своего часа. И такой час настанет.

Подрастет у мидийского царя сын, нареченный в честь деда Киаксара Дейоком. И станет мальчик обличием и умом похож на любимого деда царя. И всей душой привяжется к сыну старый Киаксар и станет всячески отличать его среди других своих сыновей.

Тогда-то, в один безоблачный день, явятся к царю мидян семеро скифов. И приведет их Хава-Массагет, прозванный Зубастой Овцой,— начальник телохранителей Мадая. Бросятся беглые скифы в ноги мидийскому царю, раздерут на себе одежды, расцарапают лица.

И узнает Киаксар, что хочет злопамятный Трехрукий живьем содрать кожу с верных телохранителей своих за то, что плохо берегли его на том памятном пиру. И будут молить скифы царя мидян о покровительстве, чтобы служить ему верой и правдой и исполнять любую нужную царю работу, не требуя взамен ничего.

И помутят боги разум царя мидян, и подумает тогда Киаксар: «Пусть все знают, что величье мое, Киаксара, сына Фраорта, внука Дейока, царя мидийского, выше величья Мадая Трехрукого, царя над всеми скифами. Пусть все видят, что грозные некогда скифы, побежденные мной, оставили своего царя и молят у меня, Киаксара, покровительства и милости».

И примет царь беглых скифов и назначит им обучать своих мальчиков скифскому языку и стрельбе из лука. А еще сопровождать царевичей на охоте и поставлять свежую дичь к царскому столу.

Целый год будут семеро скифов исправно служить Киаксару и войдут к нему в полное доверие. Тогда убьют они на охоте маленького Дейока, приготовят его так, как обыкновенно готовили дичь, и накормят его мясом Киаксара и его сотрапезников. А сами уйдут в Лидию, в Сарды, к царю Алиатту, сыну Садиатта Алиатт же, боясь мести Мадая и соперничая с Киаксаром, не выдаст скифов по требованию мидийского царя. И начнется между ними война. А семеро беспрепятственно вернутся к Мадаю Трехрукому в скифские степи. Так будет отомщен Мадай.

— А потом? — Маленькая Агния сидела между нами у края обрывистого берега, жмурилась на яркую воду реки и болтала ногами.

— А потом Таргитай завернулся в львиную шкуру и пошел отыскивать исчезнувших своих кобылиц. Шел он, шел и набрел на большую пещеру под береговой кручей у самого Борисфена. А в этой пещере жила полудева-полузмея, великая Табити-богиня. Увидел ее Таргитай и сразу же влюбился. А она говорит...

Агния перебила меня:

— Она красивая, богиня?

— Да, очень красивая.

— Как моя мать?

— Нет.— Аримас внимательно вглядывался в лицо маленькой Агнии.— У нее курчавые волосы, целая шапка курчавых волос, которые переплетаются, точно змеи. И глаза большие, черные, с длинными, загнутыми ресницами...

Агния улыбнулась, высунув между зубами кончик языка.

— И улыбается она...

— Агния! Агния! — долетел до нас голос царицы.

Там, вдали, за колышущимся морем трав, в которое с жужжанием ныряли пчелы, хорошо были видны три знакомые фигуры у дедовой кузницы.

— Иду-у! — протяжно пропела маленькая Агния и, неохотно поднявшись, попросила меня: — Давай поедем на Светлом. А то я немножко, совсем немножко боюсь ваших собак.

— О, мать всех скифов, великая Табити-богиня! Умерь свою обиду, спаси от страшной беды сыновей своих! Никогда, никогда не прислонялся Мадай к алтарям чужих богов... Только во славу твою, Змееногая, сокрушал он роскошные храмы их, сдирая кожу с лживых жрецов на чепраки скифским коням! За что отвернула ты любящее лицо от гонимых детей своих? Каких жертв требуешь ты еще от нас, несчастных?!

Так молил Мадай Табити-богиню, и, отступая, скифы снова вытаптывали посевы, разрушали храмы, жгли и опустошали города.

Все, что долгие годы терпело скифскую неволю, поднялось против скифов. Во многих покоренных городах жители, восстав, перебили скифские гарнизоны. Прежние друзья наглухо запирали крепостные ворота и бесстрашно встречали незваных гостей стрелами и кипящей смолой с укрепленных стен. Наказывать за измену было некогда: мидяне наступали на пятки. Горе скифу, осушившему лишнюю меру вина и уснувшему на лишний час. Такой просыпался лишь для того, чтобы заглянуть в пустые глазницы смерти. Любые сокровища готов был отдать теперь каждый воин за сменного коня. В безостановочной скачке кони ломали ноги, падали запаленными или сраженными стрелами преследователей.

Уверовав в то, что счастье изменило ему, Мадай не решался даже на попытку самому атаковать обнаглевшего врага. Признанные скифские вожди были почти полностью перебиты на пиру у Киаксара, и теперь откатывающаяся на север орда только злобно огрызалась на бегу, как затравленный собаками волк.

И все же скифский царь оставался верен себе. Почерневший, закопченный в дыму пожарищ, осунувшийся, в помятом панцире и шлеме, он скакал с тремя сотнями самых отчаянных позади своего воинства, яростно рубясь в гуще схваток, прикрывая отступление. По ночам, когда скакать по незнакомой местности было опасно, Мадай, лежа на подстеленном чепраке и намотав на запястье повод, со щемящей нежностью вдруг вспоминал свое степное детство. Удивительно ярко видел себя маленького — большеголового крепыша в короткой конопляной рубахе, с хворостиной в руках, не поспевающего за противной пегой козой, потому что босые ноги его больно накалывала короткая, срезанная пастьбой травяная стерня. И остро ощущал уколы этой стерни, будто сам в этот миг ступал по ней босой розовой ступней.

А с рассветом опять скакал, меняя коней, отбивая внезапные наскоки, ни о чем не думая и ничего не чувствуя.

Последним вошел конь Мадая в безопасные воды Борисфена, и первым узнал Мадай оглушившую его новость.

...Удивляясь самой себе, Агния Рыжая теперь чаще, чем прежде, думала о Мадае. Любовь к Нубийцу, захватившая ее целиком, заставляла по-другому взглянуть на далекого супруга-царя, заново наедине с собой пережить все страхи той единственной ночи с ним. Но теперь эти привычные страхи уже не были страхами. Правда, Агния еще продолжала жалеть себя, ту молодую, неискушенную девушку, по капризной воле богов ставшую царицей, но теперь к этой жалости примешивалась какая-то смутная жалость и к самому Мадаю, чувство спокойного, безусловного превосходства над ним. Ей почему-то иногда хотелось, чтобы Мадай видел, как она счастлива, как любима, как счастлива и любима дочь ее — маленькая Агния.

Она понимала разумом, что все в ее жизни может трагически измениться, если вернется Трехрукий. Но сердце не слушалось предостережений рассудка, и Агния гнала прочь тревожные мысли, уговаривая себя, что все будет хорошо и обязательно должно произойти какое-нибудь чудо, если случится вернуться скифам. И это чудо должно защитить ее, Агнии, счастье.

По ночам, когда Нубиец засыпал с ней рядом, она приподнималась на локте и при слабом, неверном свете очага подолгу вглядывалась в его темное, подсвеченное красноватым пламенем лицо.

Она отыскивала все новые, едва заметные черты сходства дочери с отцом, и эти маленькие открытия восхищали ее. Когда возлюбленный переворачивался на живот, она проводила легкими пальцами вдоль синеватого шрама, разрезавшего широкую спину, и сознание того, что эта рана получена им в борьбе за жизнь ее племени, одушевлялось в ней болью за него и горячей нежностью.

Однажды ей приснился сон, будто идет она по потравленному скотом выпасу и несет на руках маленькую дочь свою Агнию, еще грудную. Скоро должно показаться кочевье, но что-то никак не показывается. Агния останавливается, чтобы оглядеться, и видит, что за ней по стерне идет большая пегая коза. Вроде идет сама по себе, но остановилась Агния, и коза остановилась. Стоит, жует жвачку, смотрит на Агнию своими прозрачными козьими глазами, нехорошо смотрит. Агния прибавила шагу и чувствует — коза не отстает. А кочевья все нет и нет. «Я заблудилась»,— поняла Агния и, холодея от испуга, побежала, прижимая к себе ребенка. И тогда позади затопотала коза, заблеяла страшно, басом. Агния споткнулась, уронила ребенка на высохшую стерню, вскрикнула... и проснулась. И долго не могла унять бешено колотящееся сердце.

Однако, когда резкий, режущий слух звук охотничьего рога поднял ото сна становище, Агния вместе со всеми спокойно вышла к берегу Борисфена. На той стороне реки, тускло блестя вооружением в сером свете пасмурного осеннего утра, кружились на конях трое.

— Слушайте вы, ублюдки и отродье ублюдков! Готовьте высокие колья, скоро ваши безмозглые головы будут торчать по всей степи и кормить голодное воронье! Мадай Трехрукий, наш царь, хранимый богами, возвращается! — кричали всадники.

Люди, тесно столпившиеся на берегу, безмолвствовали. Порыв ветра поднял и растрепал огненные волосы царицы, выступившей впереди всех.

Вдруг с того берега, нарастая, перелетел заунывный свист и оборвался тупым стуком. Агния Рыжая, царица над всеми скифами, качнулась вперед и, раскинув руки, будто хотела обнять это холодное, ненастное утро, скатилась, ломая сухие ветки кустарника, под обрыв и упала затылком в воду. Пряди золотых волос заколыхались, подхваченные течением. Оперенная стрела торчала у Агнии в горле.

Страшно, как насмерть раненный зверь, закричал Нубиец, и несколько стрел, словно поднятых этим воплем, взвились над толпой и упали в воду у противоположного берега. Трое, поворотив коней, невредимые уносились в степь.

Нубиец, приподняв в ладонях голову Агнии, прижимал ухо к груди ее, ловя слабое биение сердца. Потом поднял на руки бессильное тело царицы и, дико ощерившись, прошел сквозь расступившуюся в страхе толпу в царский шатер.

Люди остались на берегу, подавленные свалившейся на них бедой, сразу поверив в новые, еще большие беды.

Когда же в шатре закричала и громко заплакала девочка, толпа поспешно разошлась в молчании. Становище казалось вымершим, даже псы куда-то попрятались. И только белолобая кобыла царицы, сорвавшись с привязи, храпя и взбрыкивая, свободно носилась между кибитками и шатрами.

Всю горечь поражения, весь позор бегства теперь вымещали скифы на дерзких рабах и неверных женщинах своих. Первые ставшие на пути кочевья и становища воины выжгли дотла, сровняли с землей, затоптали конями. С рабов заживо сдирали кожу, рубили руки и ноги, головы насаживали на колья. Девушек и женщин насиловали скопом, пороли плетьми, кидали в огонь пожарищ. Не щадили даже детей. Убивали псов, невпопад залаявших, закалывали коней, зашаливших под седоком.

Спасаясь от безжалостной расправы, люди бросали свои очаги, скот и имущество и бежали к нам в становище.

Нубиец, мрачный, как туча, носился на взмыленном коне среди беженцев, распределял вооружение между мужчинами, сколачивал по признаку единокровия боевые отряды.

Агния Рыжая металась в жару, еще жила, не приходя в сознание. Старухи неусыпно стерегли ее, смачивали губы и лоб ледяной родниковой водой, прикладывали к ране пучки целебных разваренных трав. Нубиец часто заглядывал в шатер, внезапностью появления каждый раз пугая старух. Припадал лицом к горячей ладони царицы и долго оставался так. Потом поднимал голову, оглядывал старух горящими, сухими, черными, как уголь, глазами и, ничего не сказав, уходил.

Так же внезапно среди ночи он появился у деда Мая. Нагнувшись, вошел за полог кибитки, бережно прижимая к могучей груди спящую дочь, закутанную в пушистые рыжие лисьи шкуры. Май выслал меня и Аримаса нести вооруженную стражу у кибитки и долго о чем-то шептался с Нубийцем. Потом Нубиец уехал, настегивая коня плетью, не оглядываясь. Когда мы, наскучив стражей, осторожно заглянули за полог, маленькая Агния крепко спала у очага, а дед Май неотрывно смотрел на нее, спящую, и всклокоченная борода его подрагивала.

Именем умирающей царицы Нубиец доверил старому кузнецу жизнь маленькой Агнии. Ему, старику, предстоит нелегкая, полная опасностей дорога. Сопровождать его мы не можем — двум молодым воинам незачем просто так гулять за кибиткой в степи. Это будет глупой неосторожностью. Он не сомневается в нас, но лучше, чтоб о его пути знали только он и боги.

Если боги пожелают, мы все встретимся. Он молит их об этом. Пусть и мы станем молиться. В остальном мы вольны поступать так, как хотим, но только не смеем предать тех, с кем выросли,

или, по зову скифской крови, поднять меч на несчастных наших товарищей. Ну-ну, не надо горячиться, он знает своих внуков.

Всю ночь мы втроем, переговариваясь торопливым шепотом, мешая друг другу, собирали деда Мая в известную одному ему дорогу. Уже совсем рассвело, когда кибитка, набитая всевозможным скарбом, была поставлена на колеса, сытые кони впряжены, спящая Агния удобно устроена на войлоках и шкурах.

Дед, в островерхой скифской шапке, выворотной куртке и таких же штанах, заправленных в низкие мягкие сапоги, деловито проверил надежность колес и упряжи и повернулся к нам.

— Простите, если в чем был виноват перед вами.

Мы обнялись. Дед молодо поднялся на высокое колесо, уселся на передке, разобрал вожжи.

— Ну, прощайте,— медленно произнес дед Май.— Живите вместе с жизнью: не спешите — беду нагоните, и не отставайте — беда нагонит.

Он тронул коней. Кибитка заскрипела, качнулась и быстро покатилась по примятой траве, сразу скрыв от нас за своим горбом деда Мая. Вдруг полог ее откинулся, милое темно-смуглое лицо под шапкой кудрей выглянуло наружу, и веселый голос прокричал:

— Аримас! Сауран! Вы не скучайте, мы с дедушкой покатаемся и скоро вернемся.

Когда кибитка скрылась за край степи, Аримас стиснул меня в объятиях и, не стесняясь, разрыдался.

Насколько хватало глаз, простиралась желтая, обестравевшая степь. Ветер, посвистывая, гнал по своей охоте, куда попало, круглые, серовато-ржавые, будто одетые волчьим мехом, мотки перекати-поля. Кони шарахались от них, храпя, выдыхая белый пар из разодранных удилами ртов и раздутых от непритворного ужаса ноздрей.

Временами волки малыми стаями объявлялись у края оврагов, издали, поджав поленья[1], разглядывали коней и всадников и вдруг пропадали, будто проваливались в землю. Промерзшая ночами земля звенела под конями. Копыта с хрустом крошили тонкий креплый ледок, уже прихвативший воду в ложбинах. Конь оступался, припадая на передние ноги, и тогда всадник, зло рванув повод и тихонько ругаясь, снова выравнивал конский бег и напряженно взглядывал вперед, под низкие облака, держась между товарищей.

Нубиец вел свои отряды навстречу Мадаю.

Многие рабы неуверенно держались на конях, но все были исправно вооружены и без страха настроены к битве. Нубиец скакал впереди, закинув лодыжки к самому крупу высокого вороного жеребца с подвязанным хвостом. Когда вскидывал черную руку, схваченную медным чеканным наручьем, всадники натягивали повода, разгоряченные кони фыркали, встряхивали головами, приплясывали на месте. Бряцало, сталкиваясь, оружие.

Нубиец переправил свои отряды через Борисфен и теперь двигался навстречу Мадаю так, чтоб все время держать по левую руку берег реки.

И снова вперед ходкой рысью, сберегая силы коней...

Скифы открылись взглядам внезапно, как волки. Казалось, они вечно стояли здесь, словно врытые в землю на пологих склонах холма. Но они не исчезли с глаз, подобно волкам, а продолжали стоять без единого заметного движения, будто неприступная, окованная металлом стена.

Нубиец поднял руку, передние резко осадили коней, задние, замешкавшись, с ходу наскочили на них. Ряды расстроились.

Туча стрел, посланная от неподвижной скифской стены, закрыла небо. Белоглазый Кельт, стоящий позади Нубийца, охнул и схватился за щеку, в которую косо впилась стрела. Где-то в рядах пронзительно заржала лошадь. Выжидая второй залп, всадники прикрылись щитами, держа правые руки на рукоятях мечей, сжимая короткие копья, распаляя в себе ярость к битве.

И тут какой-то ополоумевший заяц, высоко кидая длинные ноги, вынесся в пустое пространство между войсками, стреканул по седой от мороза траве и вдруг присел, навострив уши, привалив зажиревшей за лето задницей пушистый свой хвост. Его важная глупая фигура с торчащими ушами была хорошо видна по всей линии войск.

В рядах скифов прокатился смешок. Заяц постриг ушами и продолжал сидеть. Смешок перерос в хохот в скифских рядах и отозвался искренним весельем в отрядах Нубийца. Задние вытягивали шеи, становились коленями на спины коней, чтобы взглянуть на невероятного этого зайца. Заядлые охотники среди скифов пихнули боевые луки в гориты и, заложив пальцы под усы, засвистали азартно и заливисто.

— Узы его, узы! — не выдержав, закричал сам Мадай и, стосковавшись по мирной степной охоте, мужчины подхватили:

— Узы! Узы!

Заяц, сложив уши, сорвался с места и, совсем одурев от шума, метнулся прямо в отряды Нубийца.

— Узы его! — И с этим криком скифы, вырвав из ножен мечи, ведомые зайцем, бросились в атаку.

Рабы мужественно выдержали первый налет. Скифская конница, выйдя из боя, рассыпалась по степи отдельными отрядами. Напрасно Нубиец кричал, срывая голос, пытаясь остановить преследование убегающих скифов. Распаленные первой удачей рабы группами преследовали скифских всадников. Скифы же, носясь во всех направлениях по степи, подобно перекати-полю, отстреливались на скаку и внезапно с боку, с тылу налетали на преследователей, сминали, рубили, поднимали на копья.

Когда Нубиец с помощью верных своих соратников снова стянул отряды в цельное войско, стало заметно, как поредели ряды рабов. Повсюду вокруг валялись тела раненых и убитых, и даже при беглом взгляде было видно, что на одного убитого скифа приходится не меньше трех пораженных противников.

Этот вид усеянного телами поля вселил лихую уверенность в сердца скифов и поколебал души рабов. Теперь они оставили свои мечты о разгроме скифского воинства и думали только об одном: как пробиться сквозь этот страшный заслон и бежать, бежать из холодных скифских степей. Или умереть свободными.

Чутьем раба и опытом воина Нубиец без слов понял своих товарищей и сосредоточил всю волю на решительном этом усилии. Как литой кулак, ударили отряды рабов по скифам. Они прошли сквозь их рассыпавшиеся сотни, не соблазняясь роковым преследованием, и устремились на юг, вдоль берега Борисфена. Скифы погнались за ними и, нападая то на левое, то на правое крыло сомкнутых отрядов, пытались оторвать воинов от слитной силы, вклиниться в гущу, бить порознь. Но отряды уходили, наращивая бег коней, расчетливо поражая смельчаков, особенно близко сунувшихся к лаве.

[1] Полено — охотничье название волчьего хвоста.



— Черномазого мне, живьем, живьем! — хрипел Мадай, крутя коня у самой лавы и прикрывая щитом голову, с которой был сшиблен шлем.

Тогда царские «отчаянные» заскочили в голову отрядов и нечеловеческим усилием отбили от остальных Нубийца и еще до сотни воинов.

Лава пронеслась.

Еще отдельные воины преследовали уходящие отряды, а скифская конница всей несметной силой теснила к берегу кучку храбрецов, оборонявшихся с мужеством отчаяния.

— Коней под ними убивайте, коней! — Мадай сам выпустил первую, тщательно прицеленную стрелу в шею вороного жеребца.

Жеребец упал на колени и стал валиться на бок. Нубиец соскользнул со спины, прыгнул вперед, как барс, и, рванув ближайшего всадника за ногу, сбросил скифа с коня, словно тот был не крепкий, одетый в тяжелые доспехи воин, а мешок сена. Но на пустой чепрак ему не дали запрыгнуть. Выставленные вперед копья надвинулись, грозя острыми наконечниками. Нубиец отмахнулся мечом, попятился, присел, избегнув петли брошенного аркана, и прыгнул вбок, но был опять встречен остриями копий.

— Что это мы делаем, скифские воины? — зычно крикнул Мадай.— Мы боремся с нашими рабами! Пока они видят нас вооруженными, они считают себя равными нам, свободными. Сейчас я возьму плеть вместо оружия, и вы увидите, скифы, они сразу поймут, что они только наши рабы!

Мадай соскочил с коня, отдал ближайшим к нему воинам меч, отстегнул колчан и протянул лук. Кольцо наставленных копий разомкнулось. Мадай Трехрукий вступил в круг, поигрывая длинной витой нагайкой.

Они стояли друг против друга, оба высокие, могучие, оба в дорогих изукрашенных доспехах — один с мечом, другой с плетью.

Сражение остановилось. Сделалось необычайно тихо.

Нубиец медленно обвел горящими глазами сплошной заслон из копий, толпу вооруженных скифов, теснившихся за этим заслоном. На Мадая он даже не взглянул. Разлепив запекшиеся губы, коротко прошептал всего одно слово. Черные ладони сжали рукоятку меча. Обоюдоострый клинок легко вошел в щель между поясом и нагрудным панцирем.

Я, Сауран, сын сколотов, и Аримас, внук Мая-кузнеца, были среди тех, кто сражался рядом с Черным Нубийцем до последнего его вздоха.

Агой!

Оставив своих воинов на поле подбирать раненых и обшаривать трупы, Мадай во главе «отчаянных» неожиданно объявился в становище и, спрыгнув с коня, шагнул за полог царского своего шатра.

Старухи метнулись в стороны, как летучие мыши.

Агния Рыжая, неверная жена его, лежала перед ним мертвенно-бледная, вытянув вдоль тела бессильные руки. И, глядя в незнакомое лицо этой зрелой женщины, Мадай был поражен редкой ее красотой. Опытным взглядом женолюба окинул Мадай всю ее фигуру, привычно отметив плавные линии бедер, круглые чаши высокой груди под простой рубахой, и снова жадно влился глазами в лицо Агнии.

Длинные, оттянутые к вискам глаза ее были прикрыты. Тень от ресниц подчеркивала горбинку короткого носа. Маленький рот с припухшими, вяло очерченными губами, казалось, не вязался с уверенной крутизной крепкого подбородка, и это кажущееся несоответствие придавало лицу строгое и вместе с тем беззащитное выражение. Прекрасное лицо забытой им жены откинутые с чистого лба волосы, точно медные змеи, заплетающиеся вокруг головы, и вся она раскаленным клеймом вдавилась в дрогнувшее сердце Мадая.

Зачем, о боги, во имя какого богатства и какой славы все эти долгие годы глотал он пыль на опасных своих дорогах, лез очертя голову на неприступные стены горящих городов, чудом уходил от стрелы и клинка?

Прав, тысячу раз прав черный раб, укравший у него это сокровище, которому он сам не знал цены. Его любовь, та единственная, о которой он грезил, которую искал, завоевав полмира, ждала его здесь, в родных степях, в его шатре.

Агния застонала, повернулась, пучок трав сполз на плечо, и Мадай увидел почерневший от крови обломок стрелы, торчащий в горле женщины.

Агния открыла глаза и взглянула на стоявшего перед ней царя. Она смотрела на него спокойно и строго, и он, не раз видевший смерть в лицо, вдруг оробел.

— Ты здесь? — спросила царица одними губами.

— Здесь,— просто сказал Мадай. И, пересилив себя, ответил на ее немой вопрос: — Он дрался, как подобает мужчине. Он умер свободным, царица.

Агния улыбнулась, по лицу ее пробежала судорога, веки сомкнулись.

— Агния, Агния, не уходи! — не помня себя, закричал Мадай.

И когда на его крик в шатер вбежали воины, он повернул к ним до неузнаваемости искаженное страданием и яростью лицо и, указывая на обломок стрелы в горле царицы, прохрипел:

— Кто?

Со смертью Агнии Трехрукий прекратил чинить расправу. Он оставил жизнь и свободу пленникам, которые вместе с Нубийцем последними защищались от скифского оружия. У ног великой Табити-богини наша царица не забыла о нас. Так смерть Агнии подарила нам жизнь.

Как подобает царице — почетно и торжественно,— задумал Мадай похоронить неверную жену свою. Но сначала случилось вот что. Одноглазый сколот, старый ветеран, сохранивший на правой руке всего два пальца, похвалялся среди воинов, что, несмотря на свои увечья, пускает стрелу без промаха и так далеко, что она перелетает Борисфен в узком месте. Воины охотно подпаивали ветерана и потешались над его враньем. Пьяный, хитро подмигнув единственным глазом, вдруг невнятно пробормотал заплетающимся языком:

— Спросите Рыжую...

Тогда мы с Аримасом силой приволокли его, пьяного, к царскому шатру.

Мадай вышел к нам с золотой секирой в руках. Разделив нас и взяв под стражу, по древнему обычаю скифов, со вниманием допросил в шатре каждого отдельно. Он ничем не выдал себя, когда выслушивал похвальбу Одноглазого, и только спросил, хорошо ли тот управляется с конем. Ветеран даже слегка протрезвел от обиды.

Царь что-то шепнул Хаве-Массагету, своему телохранителю, и вскоре воины подвели на ременных растяжках дикого мышастого коня с опененной мордой и косящими, налитыми кровью глазами. По велению царя жеребца стреножили и, схватив хвастуна, крепко привязали его за ноги к лошадиному хвосту.

Мадай сам проверил ременные узлы и произнес царский приговор:

— Мало кто из скифов перебросит стрелу через Борисфен. Но ты зря стал хвастаться без свидетелей. Скачи, найди Агнию Рыжую, царицу, жену мою...— голос Мадая сорвался,—...пусть она подтвердит твою удаль.

Воины враз ослабили ремни, державшие ноги коня. Он прыгнул, изогнув шею, ударил задом, высоко подбросив привязанного к хвосту, и, молотя тяжелыми копытами, полетел в степь, унося за собой человека. В угон ему, стелясь над землей, устремились натравленные псы. Мадай круто повернулся и скрылся в шатре. Начальник телохранителей скользнул за ним.

Мы отошли недалеко, когда Хава-Массагет догнал нас:

— Царь над всеми скифами пожелал отблагодарить вас. Просите, что нужно.

— Ничего. Мы свободные скифы, а не рабы царя и выдали убийцу не за награду. Царь и так одарил нас, дав сшибить с него шлем в бою.

Аримас дернул меня сзади за пояс, и я умолк. Массагет, прищурившись, твердой рукой сдерживал пляшущего коня.

— Я передам царю ваш смелый ответ. А вас хорошенько запомню. Обоих.

Он поднял своего аргамака на дыбы, крутанул в воздухе и ускакал.

Мы шли, стараясь не спешить. Но Массагет не вернулся за нами.

Тело Агнии Рыжей опустили в глубокую и широкую могилу, окруженную безмолвной стражей из отборных воинов. Царица с лицом, словно выточенным из мрамора, лежала, обряженная в драгоценную пурпурную ткань. Руки ее были унизаны круглыми золотыми браслетами. Золотые бусы украшали высокую шею, пряча страшную рану. Широкая, черная, шитая золотыми нитями лента скрепляла тяжелые, рассыпавшиеся по изголовью волосы.

Бронзовое зеркало, подарок деда Мая, стояло в гробу у левого плеча.

По четырем углам могилы были врыты толстые высокие столбы, поддерживающие настеленный помост. Там, на помосте, горел неугасимым пламенем погребальный костер. Вокруг его огня Мадай со своими ближними справлял погребальную тризну. Три дня и три ночи бессонно, не пьянея, пил он крепкое неразбавленное вино, а к исходу третьего дня серое лицо его вдруг налилось темной кровью, и он ничком упал в костер.

Горбатый знахарь-сколец, которого царь повсюду возил за собой, надрезал ему жилу на запястье, выгнал в глиняную чашу дурную эту кровь, и Мадай ожил, но долго оставался слабым, дергал щекой, и левая рука его плохо слушалась.

Тридцать две рыжие кобылицы, по числу лет умершей, принес царь в жертву богам. Когда тела рабов и прислужниц наполнили могилу, Мадай приказал опустить в ноги царице тело Черного Нубийца, не снимая с него боевых доспехов. Рядом положили бывшее в бою оружие его и уздечку с вороного жеребца, убитого Мадаем.

А потом воины, старики и женщины потянулись длинной чередой к могиле, и каждый бросал свою горсть земли. Так повторялось много раз, пока не вырос высокий холм, видный далеко из степи.

И навеки простившись с Агнией Рыжей, царицей, Мадай увел пришедших с ним скифов за Борисфен, в сторону Герра[1], подальше от нашего становища. Там на пологих холмах они разбили свой лагерь и объявили себя царскими скифами, а всех прочих скифов — детьми рабов и своими рабами.

А на месте стертых с лица земли кочевий и становищ Мадай Трехрукий, сын Мадая, царь над всеми скифами, приказал вытесать из камня и поставить большие фигуры скифских воинов и высечь на них изображение меча и нагайки, дабы во все века знали от рождения скифские женщины, кто в наших степях настоящий хозяин.

Агой!

[1] Герр — область, где жили царские скифы.

Глава третья

Агния сидела в вонючей темноте трюма, не слыша всхлипываний и шепота своих товарок. Волны мерно били в низкие борта, раскачивая судно, как огромную колыбель.

Агния, широко раскрыв глаза, полная неясного предчувствия скорой радости, бездумно уставилась в темноту и вдруг зажмурилась от раскаленного сияния длинных быстрых искр, летящих из-под тяжелого молота.

«Дух! Дух! Дух!» — равномерно ударял молот, а она сидела в углу каменной кузницы и смотрела, как дед Май неустанно бьет по низкой наковальне. Нет, это не дед Май, это кто-то другой. Она не может угадать его в лицо, но знает, что любит его, любит больше всех на свете. А кто же второй? Кто поворачивает щипцами раскаленный брусок на наковальне? Вот взглянул на нее из-за плеча, улыбается. Сауран! Ну, конечно, это ты, Сауран! Ты хочешь загородить меня от летящих горячих брызг. Спасибо тебе.

Кузнец отбросил молот и протянул руку к раскаленному брусу. Что он хочет сделать? Ведь он обожжется.

Нет, не обжегся. Держит в руке докрасна раскаленный короткий клинок.

Агнии весело. Он прекрасен, ее кузнец. Она смеется.

Вот кузнец шагнул к ней, опускает руку с клинком. Все ближе, ближе горячее мерцающее острие.

Она хочет встать, но ноги затекли. Хочет загородиться руками — руки не слушаются.

Она смотрит кузнецу прямо в лицо, чтобы остановить его взглядом, и вдруг понимает, что кузнец не видит ее — он слеп...

Свежий ветер дохнул в удушливую темноту трюма, разбудив Агнию. В квадрат открывшегося люка на миг заглянули звезды. Потом чья-то тень закрыла небо, и перекладины лестницы заскрипели. Кто-то тяжелый быстро спускался вниз. Агния сидела у самой лестницы. Шершавые ладони ощупали ее голову, плечи.

Жесткие пальцы вцепились в руку выше локтя. Кто-то, невидимый в темноте, обдал ее лицо горячим нечистым дыханием. И Агния, как рысь, вцепилась ногтями в это лицо. Вскочив на ноги, извиваясь всем телом в железных объятиях, била она коленями, вскрикивая, когда чувствовала, что ударила крепко. Неразличимый во тьме схватил ее за волосы и, отогнув голову, повалил навзничь. Он не проронил ни звука, только шумно, прерывисто дышал. Тело, придавившее ее к мокрым доскам, медленно, всей тяжестью поползло по ней. Жесткая щетина бороды окорябала щеку. Задохнувшись, она открыла рот и почувствовала, как скользит по ее губам липкая от пота кожа, как дернулось горло, когда невидимый судорожно сглотнул.

И тогда, извернувшись, Агния вцепилась зубами в эту волосатую глотку. Невидимый завизжал, как

испуганный вепрь. И женщины в трюме закричали все сразу, весело и страшно.

Жесткие пальцы рвали ей уши, волосы, пытаясь добраться до лица, но она обхватила руками жилистую шею и грызла, грызла, пока горячая кровь толчком не заполнила ей рот, лишив дыхания.

По палубе загрохотали ноги бегущих. Матросы, светя фонарями, один за другим попрыгали в трюм. Чей-то сильный удар сбросил с нее тяжелое тело пришедшего во тьме.

Агния закрыла лицо ладонями и лежала так, ничего не желая видеть, только слышала хриплую, захлебывающуюся ругань, выкрики матросов и дикий хохот женщин.

Потом весь этот шум перекрыл гневный голос хозяина.

Матросы, уводя своего товарища, выбрались на палубу.

Люк оставался открытым всю ночь. Всю ночь женщины, улыбаясь, смотрели, как над парусом плывут в небе высокие звезды. И только Агния плакала тихо, безутешно. Она обнаружила, что потеряла свой талисман — дедову свирельку.

И ей казалось — навсегда.

...Эту когда-то обольстительную гетеру обдуманно изуродовал не в меру ревнивый обожатель, и с тех пор в Афинах она звалась Медуза.

Сквернословя и брызжа слюной, Медуза сбивчиво объясняла, что сегодня утром купила у хозяина корабля трех девушек для своего «дома любви», да еще переплатила втридорога за одну из трех.

Теперь эта дрянь сбежала от нее. Она, Медуза, уверена, что лукавый финикиянин нарочно прячет беглянку здесь, на своей посудине и, по всему видно, поступает так не впервые.

Он, конечно, в сговоре с девчонкой: продаст ее, она сбежит обратно на корабль, и тю-тю — ищи ветра в море!

А денежки поделят. Ее, Медузы, честный заработок! Дуру нашли!

Пусть надежная стража золотых Афин, неподкупные скифы осмотрят воровское это корыто, обшарят его сверху донизу.

Медуза клянется Афродитой Критской, своей заступницей, что они найдут здесь то, что ищут.

И уж тогда лживый финикиянин сполна заплатит ей за обиду.

Такие уловки на торге и вправду случались нередко, и поэтому Аримас строго потребовал хозяина триремы [1] к ответу.

Финикиянин оставался невозмутимым. Темное, с морщинистой, загрубевшей под солеными ветрами кожей лицо его ничего не выражало.

Он спокойно приказал команде подать нам заправленные маслом морские фонари и не двинулся с места, когда Аримас в сопровождении Медузы и ее жирного прислужника-сирийца, тоже взявшего фонарь, отправился осматривать палубные постройки.

Проверив, легко ли выходит меч из ножен, я спустился в трюм. Тошнотворный рыбный дух мешался здесь с приторным, сладким запахом гнилых фруктов. Фитиль фонаря чадил и мигал, бродя в сырой темноте. Гулко отдавались в пустоту короткие всхлипы волн, толкущихся между бортом судна и камнями причала.

Трюм был пуст. Никто не прятался за грязными дощатыми перекрытиями. Собравшись вылезать наверх, я на всякий случай заглянул за поставленную торчком лестницу. Ступня опустилась на что-то твердое, маленькое, раздался сухой хруст, нога поехала вбок, я едва устоял, ухватившись за щербатую перекладину.

Присев на корточки, я повел фонарем над самым днищем.

Если бы передо мной предстала сама Змееногая, я, верно, не был бы так поражен. Круглая и короткая, выпиленная из полой кости скифская свирелька, вроде тех, что любил дед Май, лежала в грязи на досках с отколотым и раздавленным моей ступней загубником.

Я поднял ее так опасливо и бережно, будто она была живая, и бессмысленно уставился в простой, знакомый каждому скифу полустершийся узор на ее круглых боках.

Надежда, за долгие годы согнувшаяся в привычку, вдруг распрямилась во мне, поднялась, поманила легкой женской рукой, взглянула ясными глазами. Зажав свирельку во взмокшей ладони, я выскочил на палубу, едва не сшибив с ног друга, стоящего над лазом.

Я разжал ладонь и показал находку.

— Аримас... Аримас...— больше я ничего не мог выговорить.

Да и нечего было говорить! Мы знали, мы оба знали наперед, что сейчас будет.

Прямо с низкого борта упали мы на спины лошадей. Копыта, захлебываясь, залопотали по деревянному настилу.

— Куда? Безумцы! Варвары! Куда? — истошно заорала вслед уродливая старуха.

Скорей, скорей!

Мимо темных кораблей со скелетами мачт и снастей, между горами грузов, под арку ворот, в город.

Белая колоннада — мимо! Копыта выбивают синие искры из каменной мостовой. Храмы, дома, статуи богинь и героев — мимо, мимо, мимо!

Ошалевшие прохожие — мимо! Туда — на холм и вниз; скорей, скорей — высвистывают плети. Через изгородь — ап! Вокруг конюшен — сюда!

На всем скаку мы прыгнули с коней.

Небо качнулось всей своей глубиной, и чья-то одинокая звезда, сорвавшись, полетела к земле, стремительно и беззвучно.

Скифы, стоящие плотным кольцом, расступились.

На опрокинутой вверх дном бадье, накрытая конской попоной, опустив в ладони лицо, сидела женщина.

Мы не проронили ни слова, не двинулись.

Она подняла глаза нам навстречу и поднялась сама. Попона соскользнула на землю.

Смуглая, прекрасная богиня Надежды, она сразу узнала нас, шагнула к нам, не стыдясь своей наготы, глубоко и освобожденно вздохнула и заплакала тихо и жалобно, как дитя, обхватив нас руками за шеи.

Снова — но теперь на словах — шли мы по следам деда Мая и маленькой Агнии. Мы возвратились на дороги нашей юности, но сейчас между нами по этим дорогам шла молодая желанная женщина, и живое ее присутствие смягчало боль многих утрат. Мы снова были, как и прежде, веселыми и молодыми.

...Зимние пути трудны и опасны, и, преодолев переправы Тираса и Пирета [2], дед Май решил зазимовать у добродушных гетов.

Особенно не сближаясь дружбой ни с кем, дед занялся по мелочам кузнечным своим промыслом,

[1] Трирема — тип галеры.

[2] Тирас и Пирет — древние названия Днестра и Прута.

пережидая холода, заботясь о девочке и обдумывая глухие, тревожные, случайные вести из скифских степей.

Однажды к позднему огню кибитки пришел человек.

Незнакомец зябко кутался в рваное верблюжье одеяло, из-под которого торчали его на удивление тонкие ноги в истертых деревянных сандалиях.

Он оказался одним из многих рабов, счастливо ушедших из страшной битвы со скифами, эллин родом.

От него дед Май узнал о гибели Черного Нубийца и обоих юношей-скифов, выступивших вместе с рабами против царя Мадая.

Старик, не раздумывая, принял неимущего эллина, кормил его всю зиму и без конца заставлял пересказывать, как славно дрались и погибли молодые скифы Аримас и Сауран, его внуки.

Эллин терпеливо и даже охотно повторял, то ли вспоминая, то ли выдумывая новые убедительные подробности, а дед Май молча слушал, не прерывая, неотрывно глядя в огонь строгими, глубоко запавшими глазами.

Только раз, раздобыв где-то хлебного неочищенного вина, старый кузнец напился до безумия и, выворотив из кибитки тяжелую оглоблю, страшный, лохматый, с дикой резвостью гонялся за эллином, крича, что тот подослан, чтобы отравить маленькую Агнию, и что сейчас он, дед Май, казнит его ужасной, невиданной доселе смертью.

Эллин плакал от испуга, а маленькая Агния сначала смеялась, а потом, жалея деда, который полуголым бегал по морозу, бесстрашно усмирила его, увела в кибитку и уложила спать, притихшего, дрожащего и покорного.

С началом весны тронулись втроем за Истр[1] и дальше, держась вблизи понтийского побережья. Желания эллина и скифа совпадали. Эллин стремился в родные Афины. Дед Май долго жил там когда-то молодым, хорошо помнил звучную эллинскую речь и полюбил часто объявлять, что у старого кузнеца достанет еще сил и искусства сделать Агнию богатой невестой. И протягивал к ней свои черные, хранящие кузнечный жар ладони.

Эллин же всегда вторил речам деда и прибавлял от себя, что в Афинах умеют ценить женскую красоту.

Добираться в Афины решили морем. Суровые македонские горы страшили путников, да и сами македонцы слыли неласковыми к незваным гостям.

В Византии эллин сторговался с владельцем маленького кипрского суденышка. Продали коней, кибитку и ненужный скарб. Большая часть выручки ушла в уплату корабельщику, а остальное дед Май припрятал за широкий кожаный пояс под охрану кинжала.

Эллин шутил, что, видно, ему на роду написано быть скифским рабом и что в Афинах дед Май возьмет его в рабство за долги. И клятвенно уверял, что обрадованная богатая афинская родня щедро отблагодарит доброго скифа.

Прямо на палубе дед Май заколол нарочно купленную для этого черную овцу, чтобы задобрить жертвой своевольного бога Фагимасада — повелителя вод.

Отплыли весело.

Агния проспала приход бури. Когда дед Май вытащил ее на палубу, где, грохоча, перекатывались волны и от резкого ветра захватывало дыхание, кораблик уже несло на скалы.

Людей смыло в море еще до того, как суденышко, ударившись о скалу, раскололось, словно орех.

На Агнии была только набедренная повязка, в воде ее сразу сорвало.

Дед Май никак не мог освободиться от просторной своей куртки и пояса, боясь хоть на мгновение лишить девочку своей помощи. У самых скал огромная волна накрыла их, оглушила, смяла, разъединила.

Богу Фагимасаду было угодно еще раз поднять их головы над водой уже далеко друг от друга, чтобы Агния навсегда запечатлела в памяти облепленное седыми, мокрыми волосами лицо, и протянутую к ней темную широкую ладонь деда Мая, и раскрытый рот, кричащий что-то неразличимое в грохоте волн.

Потом прибой подхватил легкое ее тело и со свирепой силой швырнул вместе с запенившейся водой в узкую каменную щель.

Агния очнулась в маленькой тихой бухте, сплошь усеянной разноцветными камешками, мокрыми и блестящими на солнце.

Ободранные о скалу бок и бедро распухли и ныли тупой, непрерывной болью...

Высокие красные скалы замыкали бухту, нависали над ней, обещая скорую тень.

От моря бухту ограждали две мощные каменные глыбы, схожие, словно родные сестры. В узком проходе между ними, набегая, пенилась волна.

Агния ступила в воду, но сразу у подножия глыб-сестер берег отвесно уходил вниз, а встречный прибой не давал выплыть.

Тогда, как ящерица, прижимаясь к нагретому гладкому камню, Агния влезла на одну из громадин.

Небо обнималось с морем. И эти объятия заполняли весь мир, и даже для нее, Агнии, такой маленькой, не оставалось в нем места.

— Дедушка! — надсаживая грудь, закричала Агния и в невыразимой тоске и обиде погрозила кому-то смуглым кулачком.

И вдруг ужас объял ее.

Беспредельное небо было над ней, и под ней бездонное море.

Она глянула вниз и содрогнулась от ощущения высоты, на которую решилась забраться. Сестра-скала не отвергала ее, подняла, держала на горячем своем плече, стояла крепко.

Но ведь и скалы послушны богам. Кому ты посмела грозить, маленькая скифянка?

И увидела Агния, как волна, тряхнув белой гривой, наскочила далеко внизу на ее скалу, откатилась, свирепея, и опять ударила с роковым упорством.

И Агния поняла ясно и просто, что никогда больше не увидит деда Мая, что он ушел от нее навсегда и вместе с ним ушло ее, Агнии, детство.

Агния быстро спустилась со скалы, только потом с удивлением вспомнив, как легко нашла простой спуск, будто он отыскался сам собой.

Волна разбилась у ее босых ног, переворошив камешки, и схлынула.

Костяная дедова свирелька лежала поверх камней, подкатившись к самой ступне. Агния присела, подняла свирельку, отерла ладонью, подумала, облизнула посолоневшие губы и тихо заиграла тот самый напев, которому учил дед Май ее мать, царицу Агнию, а потом ее, Агнию, дочь Агнии.

Она сидела у самой воды и, превозмогая боль, играла на свирельке. А потом в бухту пришла тень, и Агния забылась в спасительной ее прохладе.

[1] Истр — древнее название Дуная.

— Агния! Агния!

Голова эллина торчала над краем красных скал, замыкавших бухту. Агния обрадовалась несказанно. Эллин, тоже радуясь, улыбался ей, растянув рот до ушей.

Волна вынесла эллина, прекрасного пловца, довольно далеко отсюда. Он целый день бродил в поисках живой души, но встречал только камни. Они одни среди этих скал.

Бедный, добрый, старый скиф! Агния не знает: как эллину спуститься к ней в бухту?

После нескольких пустых попыток эллин остался наверху. Так они провели еще две бесконечные ночи и один бесконечный день. Эллин научил Агнию смачивать губы и ополаскивать рот соленой водой, но самого его сильно мучила жажда. Он отыскивал мох, росший в углублениях на камнях, жевал его и жаловался, что это мало помогает. Днем они забивались к подножию камней, ища тень, а ночью дрожали от нестерпимого холода.

Утром второго дня эллин с диким криком стал носиться, размахивая руками, по самому краю скальной гряды, рискуя сорваться и сломать себе шею. Агния была уверена, что боги лишили его разума, и, рыдая, молила успокоиться. Эллин продолжал вопить еще долго, а потом лег за камнями совсем обессиленный. Теперь, невидимый ей, он не отзывался на робкие вопросы Агнии.

Агнии уже стало казаться, что он умер, когда в расщелине между камнями показался узкий челнок и два поджарых загорелых матроса с медными серьгами в ушах сошли на камни бухты.

Агния не разбирала их речи и только отчаянно сопротивлялась желанию матросов взять ее в челнок, настойчиво тыча пальцем вверх и громко зовя эллина. Вдруг голова эллина возникла над краем гряды. Он увидел челнок и матросов и с криком прыгнул к ним со скалы.

Он упал навзничь на разноцветные камешки, потерял сознание и не приходил в себя, когда матросы переносили его в челнок, а только визгливо стонал, как обиженная женщина.

С финикийской триремы, идущей в Тир, все-таки заметили бегающего по скалам голого человека, и хозяин, подумав, приказал снять его с камней. Выяснилось, что эллин сломал ногу. Хозяин сам взялся лечить спасенных. Раздувшиеся бок и бедро Агнии промыли белым вином и, обложив мелко нарубленными толстыми листьями какого-то странного растения, туго перетянули куском чистой холстины. Повязка сразу промокла от горького на вкус сока этих листьев, но боль ушла. Эллина перенесли и устроили на корме. На Агнию больше никто не обращал внимания, и она свободно бродила по всему кораблю.

Финикиянин спешил к дому. Трирема шла на всех веслах и под парусом. Слава богам, попутный ветер не менялся.

Агния скоро освоилась на финикийской галере. Опухоль быстро спала, царапины затянулись. Хозяин приказал ей помогать готовить пищу команде.

Агния не расставалась с прощальным даром деда Мая. Она выпросила у матросов витой кожаный шнурок и носила свирельку на шее, как амулет.

Теперь все ее существо, жаждущее привязанности, обратилось к эллину. Она расспрашивала его об Афинах, о его занятиях, о родне. Эллин был с нею немногословен, но скупые его ответы Агния украшала своей фантазией и благодарила богов, что они оставили ей такого друга.

Как-то, выловив из котла особенно лакомый кусок мяса, не замеченная никем, пробралась она на корму, где в низкой палубной пристройке лежал эллин. Она застала у него хозяина-финикиянина. Мужчины о чем-то совещались. С ее приходом они сразу замолкли. Эллин равнодушно уставился в потолок, а финикиянин с пристальным вниманием стал ее разглядывать, будто увидел впервые. Агния смутилась и выскользнула на палубу. Лакомый кусок она съела сама, прячась за бухтой свернутого каната.

Афины встали из моря неожиданно, ослепительно блестевшей на солнце крышей и белыми колоннами Акрополя. Город рос на глазах, поднимаясь из моря и облепляя светлыми легкими строениями оранжевые склоны холма. Матросы, гортанно крича, убирали парус. Длинные брызги летели по ветру с поднятых лопастей узких весел. Быстро надвигалась пристань.

Агния по всему кораблю искала эллина, но его нигде не было. В жуткой тревоге, что с ее единственным другом случилось несчастье, Агния бросилась к хозяину-финикиянину.

Он стоял у борта, следя, как готовят трап к спуску. Когда Агния подбежала к нему с расспросами, финикиянин, не отвечая, крепко схватил ее за руку и почти бегом увлек ее за собой на корму. Там он распахнул низкую дверь в пустую пристройку, где раньше лежал эллин, втолкнул внутрь и запер. Ничего не понимая, Агния кричала и молотила руками и ногами в дверь и стены.

Весь день и всю ночь она просидела взаперти, ослепнув от слез, думая страшное.

Наутро раздались резкие крики команды, пол под ногами качнулся. Агния приникла к щели под потолком. Трирема уходила от белого причала. Оранжевый холм погружался в море. Медленно поворачиваясь, удалялась колоннада Акрополя.

Дверь в пристройку распахнулась. Финикиянин стоял на пороге. Агния теперь принадлежала ему. Эллин расплатился за проезд красивой смуглой девчонкой, как будто своей рабыней.

Агния не стала рассказывать нам про свою жизнь в богатом Тире, в доме хозяина-финикиянина, владельца многих кораблей. Что-то мешало ей вернуться на эту дорогу вместе с нами.

Мы остановились и смотрели, как она, не оглядываясь, уходила от нас в свою тайну. Мы пытались угадать ее путь, понять молчание, видели затененное лицо под тяжелой копной кудрей, руку — темную тонкую кисть с набухшей веткой прожилок,— бессильно свесившуюся с колена, и понимали только одно: как дорога нам Агния.

В Тире от гостей хозяина Агния узнала о том, что покой Золотых Афин последние годы охраняет отряд вольных скифов. Гости рассказывали, что скифы так и не сумели свыкнуться с ярым афинским солнцем, потому что упорно не желают расставаться с кожаными своими пропотевшими куртками и островерхими шапками. Что целыми днями по двое, по трое разъезжают они по городу, сидя верхом как-то по-своему, боком, и следят порядок на улицах и площадях, на пристанях и рынках. А вечером они скачут за городскую черту к подножию холма, где лошадей и людей ждут низкие, прохладные, вытянутые в линию строения конюшен, в одной из которых, освобожденной от перегородок, живут сами скифы.

А если заглянуть в высокие окна приспособленной под жилье конюшни, то можно увидеть, как кто-то из варваров спит, подложив под голову свернутый чепрак, другой с азартом играет в кости, а кое-кто даже читает по-гречески. По ночам скифы появляются в портовых притонах, льют неразбавленное

вино и щедро платят за любовь доступных женщин. Сами скифы не затевают драк — они ведь поклялись охранять покой в городе,— а с ними в драку никто вступать не решается. Не зря же просвещенные Афины дорого оплачивают свой наемный скифский отряд.

И еще... Если обойти скифские конюшни, то во внутреннем дворике станет виден огонь кузницы. Стуча маленькими молоточками и колотя тяжелым молотом, молодые скифы учатся отливать в формах, ковать и чеканить по дорогим металлам фигурки птиц и зверей, людей и невиданных чудовищ. Эти изделия варварских рук и фантазии потом быстро расходятся, сполна оплаченные, по всей Элладе и уплывают в корабельных сундуках, чтобы удивлять и восхищать многих людей за многими морями.

А трудятся кузнецы под наблюдением своего наставника, высокого, нетерпеливого, похожего на большую хищную птицу, скифа.

...В Тире и повсюду беглого раба ловят, наказывают и оставляют у хозяина. Дважды бежавшего, поймав и наказав, заковывают и заставляют работать, как скотину. Трижды бежавшего раба убивают. Но рабыню, бежавшую хотя бы однажды, поймав, убивают сразу. Или продают далеко от дома. Агнию решено было продать в Афины. Ведь всем известно, что эллины умеют ценить женскую красоту.

Стремящийся узнать, кто распускает о нем слухи, похож на пса, который гоняется за своим хвостом.

С рассветом в Афинах не было человека, который бы не знал, что к скифам волей богов вернулась их темнокожая царевна-рабыня. Медуза бегала по городу и кричала на всех перекрестках, что за свободу скифская царевна должна ей заплатить по-царски. И безобразная старуха назначила неслыханный выкуп за беглую свою рабу.

Толпы афинян осаждали скифские конюшни, чтоб взглянуть на Агнию. Начальник караульного отряда Ник Серебряный, известный тем, что, прогневавшись, ударом кулака уложил на мостовую боевого коня, сам выходил к эллинам, убедительно уговаривая разойтись. Но к полудню пришлось выставить вооруженную стражу, отозвав воинов из города. В городе им теперь делать было нечего: все Афины были здесь, у конюшен.

На расстоянии вытянутого копья вокруг жилой конюшни стояли верхами воины помоложе и, изнемогая от жары, украдкой молили бога Папая, а по-эллински — Зевса, потратить одну из своих молний на этих возбужденных афинян.

В прохладном полумраке конюшни громадная, черная, пропотевшая шапка Ника Серебряного переходила из рук в руки. Золотые монеты разного достоинства: древние, совсем темные, грубо обрубленные, с истертыми, неразличимыми изображениями на них, может быть, побывавшие в руках народов, уже исчезнувших с лица земли; и новые — масленно поблескивающие, носящие знаки тех стран, племена которых преуспевали сейчас и в гордыне сытого достатка широко рассылали по миру золотые знаки своей силы; и просто слитки дорогого металла неправильных, причудливых форм, больший из которых не превышал размером куриное яйцо; и камни—светлые и прозрачные, розовые и голубые, темные, зеленые, как кошачьи глаза, красные, как свежая кровь, в оправах и без оправ — все это медленно наполняло кулек скифской шапки.

Обойдя полный круг, шапка вернулась к владельцу. И когда последний, держащий шапку за края обеими руками, воин протянул ее Нику, начальник скифской стражи Золотых Афин отстегнул от пояса маленький кривой кинжал с изукрашенной резьбой рукояткой из драгоценной носорожьей кости и прямо с ножнами воткнул его в самую вершину груды.

И только тогда, перехватив свою шапку, Ник Серебряный протянул ее Агнии, неподвижно сидевшей между скифами, словно изваяние из темного дерева.

— Один волос с твоей головы не стоит этой безделицы, царица,— громко и отчетливо сказал старший скиф, и низкий, глубокий голос его, вылетев из высоких окон конюшни, покрыл гомон толпы и набатом загудел в стенах.

— Агой! — боевым кличем отозвались скифы, сидящие вокруг Агнии.

— Агой! — ответили им стоящие на страже.

И Агния, дочь Агнии, скифской царицы, медленно поднявшись, поклонилась в ноги старому воину и долго не разгибала стана, стыдясь показать горевшие ярким румянцем щеки.

От хорошей жизни не сбежишь наемником в Афины. Разными путями пришли эти скифы к берегам Эгейского понта[1], но возврат на родину был для всех равно невозможен. И только мы двое по настоянию Агнии решились вернуться на старое пепелище, под копыто коня Мадая Трехрукого, царя над всеми скифами.

Степи! Родные скифские степи...

Хорошо свеситься с передка кибитки и чувствовать, как опущенную вниз ладонь хлещут пушистые метелки высоких трав.

Еще засветло мы свернули со старой, наезженной дороги и, поднявшись на плоскую макушку кривобокого холма, остановили кибитку, чтобы успеть разжечь костер и приготовить пищу до темноты. Знакомый кривобокий холм. Старый знакомый. Если спуститься по более крутому склону, пересечь дорогу и идти по степи так, чтобы Солнцеликий все время видел правое твое плечо, то вскоре травы расступятся и поредеют и ты окажешься у края узкой и глубокой балки. Отсюда надо двигаться прямо навстречу Солнцеликому, следя, чтобы твоя тень, не отклоняясь в стороны, послушно следовала за тобой. Пройдя так далеко, как трижды пролетит из боевого лука стрела, ты наткнешься на маленький, теперь, верно, густо заросший травой курган. Никакими знаками не отмечен этот курган, и только случайный камень, серый и бугристый, лежит, вдавившись в землю, на невысокой его вершине.

Под этим серым камнем погребен Светлый. Мой первый друг, мой конь. Не в лихой скачке, не в схватке под мечами и стрелами, не в работе, задавленный тяжким грузом, пал он, старый мой товарищ. Тогда давно, ступая позади нас по бездорожью, навьюченный только двумя нашими торбами, он вдруг тяжело и шумно задышал, отфыркиваясь, и, не дав дотронуться до себя, раздув дрожащие ноздри навстречу ветру, навострив уши, поскакал в степь, не слушаясь ни нашего окрика, ни свиста. Далеко ускакав вперед, Светлый круто свернул и помчался, огибая нас по какому-то только ему ведомому кругу. Он скакал все резвее и резвее, длинная, давно не стриженная грива полоскалась над травами, и хвост летел по ветру.

Круг замкнулся, и Светлый встал как вкопанный. Вытянув шею, он повернул голову в нашу сторону и заржал звонко и коротко, прощаясь, может быть, с нами, а может быть, со степью. Потом ноги его подломились, и он рухнул в траву. Когда мы подбежали, все было кончено. Опустившись на колени, я при-

---

[1] Эгейский понт — древнее название Адриатического моря.

поднял тяжелую мертвую его голову. Большая мутная слеза медленно скатилась из конского глаза, задерживаясь в короткой шерсти. Я нагнулся и поцеловал его в теплые еще ноздри.

Мы погребли коня, привалив курган серым камнем. И шли дальше, пока нас не остановила рассекавшая степь балка. От нее свернули к дороге. Так я запомнил эту балку, эту дорогу и кривобокий холм.

Память упорно звала меня взглянуть на серый камень. Я отправился пешим, чтобы не оскорбить крылатую душу Светлого дружбой с другим конем. Весь путь я шел уверенно и быстро, а теперь, придя, кружил в траве, не находя даже следов кургана. Вдруг сильный порыв ветра пригнул травы, и я увидел бугристый бок серого камня, торчащий из земли. Я понял подсказку ветра. Люди с сердцами шакалов, наткнувшись на одинокий курган в степи, разрыли его и, не найдя сокровищ, должно быть, испуганно смотрели, как беззвучно смеется над ними конский череп, ощерив длинные желтые зубы. Потом зверье растащило высохшие кости.

Серый камень, зачем я пришел к тебе? Что ты можешь напомнить мне о моем коне, о Светлом, на горячей спине которого ускакала моя юность? Я сам, своими руками вознес тебя, серый камень, на вершину кургана и оставил стеречь прах моего друга. И был ты мне послушен. И был ты послушен тем, чьи руки отбросили тебя сюда, в травы. Ты, видно, очень давно живешь на свете, серый камень, и твое послушание — от равнодушия к жизни. И не раз, верно, чьи-нибудь руки погребут под твоей тяжестью прах любимого существа, принимая спокойное твое равнодушие за немое сочувствие человеческому горю.

Я ненавижу тебя, бессмертный! Сегодня я сам зарою в землю твое серое бугристое тело вблизи живого горячего огня, усядусь на твою могилу, согрею над костром руки и порадуюсь, что ты больше не смотришь на мир холодными, каменными глазами.

Расшатав, я вывернул серый камень из земли, взвалил на плечо и понес. Передо мной, бесконечно вытягиваясь, ложилась на травы моя сгорбленная тень.

Холодный туман медленно поднимался от земли, заволакивая степь. Прямые стебли трав с острыми маковками стали казаться копьями бесчисленного войска, ждущего только сигнала, чтобы броситься в атаку сквозь этот туман, похожий на дым пожара. Тьма упала внезапно. Я остался один посреди этой ночи, совсем один, придавленный большим серым камнем. Туман, расползаясь, заполнил пустоту ночи, смешал небо и землю, и если бы оказалось, что я стою вверх ногами на своей ноше, я бы не удивился. Я протянул вперед руку и, напрягая глаза, едва различил смутное очертание своих растопыренных пальцев. Живая красная искорка вдруг вспыхнула на моей протянутой ладони. Я невольно отдернул руку. Огонек, мерцая, повис в тумане. Я перевалил камень с плеча на плечо и заспешил к желанному теплу.

Агния и Аримас сидели у костра.

Боги! Пока я блуждал в тумане, что-то произошло здесь без меня.

Они даже не повернулись мне навстречу, когда я подошел. Я сбросил камень с плеча и уселся на него у костра так, чтобы хорошо видеть их обоих. Они разом глянули, но не на меня — на камень, как он ткнулся в землю, и снова уставились в огонь. Я переводил взгляд с лица Аримаса на ее лицо и желал и боялся догадаться, что сделалось в мое отсутствие. И вдруг я понял, что так поразило меня в них обоих: странное сходство их лиц.

Нет, не явным сходством кровников, брата и сестры, были они схожи. Высшая печать родства лежала сейчас на их лицах. Так похожи между собой жрецы одного бога, воины одного войска, рабы одного хозяина. Так, должно быть, похожи друг на друга сами боги.

Что мне делать? Взять третьего сменного коня, обычно бегущего в пыли за кибиткой, и ускакать в туман? Разом потерять и друга и любимую?

...Они давно ушли от костра. Туман укрыл их.

Заколоться! Наказать их. За что? За то, что они счастливы? Отомстить своей любви, как врагу?

Костер медленно догорает. Пламя, перелетая по черным головешкам, взмахивает дрожащими желтыми крылышками и никнет, запутавшись в багровой паутине.

Убей меня, великий бог Папай! Сделай так, чтобы сердце мое не выдержало муки!

Скрипнуло колесо кибитки. Кто-то идет ко мне сквозь туман.

Аримас подошел, обхватил меня сзади за плечи, приник лицом к моему затылку, сжал в объятиях так сильно, что у меня заныли кости и стеснилось дыхание. Я вспомнил первую нашу встречу, тогда, давно... Он обхватил меня и крепко держал, сидя со мной на спине Светлого. А я просил богов оставить мне его навсегда.

Благодарю вас, боги, вы были добры ко мне.

Несчастен бесталанный в дружбе. Жалок разуверившийся в ней. Считающий друзей по пальцам обеих рук либо лжив, либо глуп. Зовущий в друзья каждого встречного просто равнодушен. Но благословен называющий друга только одним именем. И проклят предавший!

Аримас повернул меня к себе, приблизив лицо к моему лицу, тревожно и пристально заглянул в глаза. Я не отвел взгляда. Мы оба молчали.

Аримас принес от кибитки и положил у огня две стрелы из наших колчанов. Бережно поставил на примятую траву узкогорлую амфору. Я вынул из кошелька у пояса старую походную чашу. Аримас расковырял восковую пробку, и вино, запенясь, наполнило чашу до половины. Мы опустились на колени и, протянув друг другу левые руки, сплели пальцы. В правой каждый держал стрелу другого. Мы взглянули друг на друга и, прижав наконечники к запястьям, нажали на стрелы. Наша кровь, смешавшись, залила сцепленные пальцы и побежала в чашу, быстро наполняя ее до краев. В этой полной чаше мы омыли наконечники стрел. Потом, передавая чашу друг другу, выпили вино, перемешанное с нашей кровью, по глотку до дна.

Теперь в мое сердце стучала кровь Аримаса, а в сердце Аримаса — моя. В моем колчане была стрела Аримаса, а в его колчане — моя стрела. Мы стали братьями.

Агния, дочь Агнии, жена моего брата, стала мне сестрой. Любимой сестрой.

Агой!

Постоянными жертвами и покаянной молитвой умерил Мадай гнев Великой Табити-богини. Вернула Змееногая в родные степи своего жадного до соблазнов сына, оставила ему жизнь. Но простить до конца за тайную измену скифской вере не захотела. Много прекрасных наложниц отдают свою любовь скифскому царю, но ни одна не подарила ему наследника. Бездетен старый Мадай, сын Мадая. Нередко среди шумной трапезы или царской охоты уносится Мадай Трехрукий помыслами и желаниями в придуманную жизнь свою. И затихает тогда пир,

и зверь уходит от невидящего взгляда царя невредимым. И никто не догадывается, что там, куда улетает душа царя, он бывает счастлив. Тогда любит Мадая жена Агния Рыжая, мать его сыновей, царица.

И страшно Мадаю пробуждение от этого сна наяву. Каждый раз после такого сна царь над всеми скифами повелевает зажечь жертвенный огонь на большом черном камне, отловить в бесчисленных табунах своих рыжую кобылицу и вороного жеребца, и сам приносит их в дар богу, имя которого страшится называть вслух.

И, очистившись, едет царь за холмы в открытую степь к заветной леваде. За просторным ее заслоном Мадай забывает свои печали и жестокую немилость богов. С отеческой нежностью следит Мадай, как послушный его тихому посвисту спешит к нему могучий золотомастный жеребец. Этот потомок нисейского аргамака и лидийской кобылицы, приведенных когда-то в скифские степи, не знает себе равных.

Мадай подолгу ласкает атласную шерсть своего любимца, с чувственным наслаждением ощущая под руками налитое упругой звериной силой тело коня, щекочет жесткой бородой своей чуткие влажные ноздри и, наконец, с поцелуем простившись, вдруг вскрикивает воинственно и дико.

Жеребец, принимая игру, прянув в сторону, взвивается на дыбы, перебирает в воздухе ногами и уносится прочь, прекрасный, как несбывшееся желание.

Дав, в который раз, подробные и строгие наставления слугам и вооруженной охране коня, царь возвращается к делам своим веселый и до времени спокойный.

Незваный гость вошел в кузницу, не спросившись. За стуком молотков мы не услышали лая собак и топота коней. Он, верно, долго стоял у входа, разглядывая нас за работой, прежде чем мы заметили его присутствие. Мы сразу узнали его, хотя он сильно разжирел за эти годы и низко надвинутая круглая лисья шапка со свисающим на плечо пушистым хвостом оставляла лицо в тени.

— Мир вам, свободные,— сказал Хава-Массагет прежним, скрипучим голосом, и мы почувствовали, что он выполнил свое давнее обещание запомнить нас обоих.

Агния была рядом в кибитке, и я вышел из кузницы, чтобы не допустить ее случайной встречи с Массагетом. Незачем было им встречаться.

Снаружи верхами стояли четверо. Золотая отделка ножен, наручья и богато убранная сбруя остро поблескивали в лунном луче. Конь Массагета дурил у коновязи, дергая головой и взрывая передней ногой землю. Вызванивали кольца удил.

Наши псы, обсевшие всадников широким кругом, оставили сторожевую свою осаду и подкатились мне под ноги, ласкаясь. Всадники молчали, словно не замечая меня.

Знают ли они об Агнии, а если знают, то что именно? Зачем пожаловал среди ночи царский пес Хава?

Я прошел мимо всадников в кибитку. Агния уже спала. Я решил оставаться около нее на тот случай, если она вдруг проснется и вздумает наведаться к нам в кузницу. В полутьме я нашарил лук и колчан, наложил стрелу и присел за пологом, держа в виду четырех всадников и ловя возможный подозрительный шум из кузницы. В осторожности Аримаса я был уверен.

Всадники у кузницы о чем-то переговаривались. Наконец Массагет вышел наружу. Хотя я ждал его появления, он все же возник как-то неожиданно, мне почудилось, будто сразу вырос на спине своего коня. Я натянул тетиву. Круглая лисья шапка закачалась на острие нацеленной стрелы.

Аримас встал в освещенной прорези входа. Обычные слова прощания, лай собак, затухающий топот коней. Я опустил оружие и ослабил тетиву.

Царский телохранитель передал: Мадай, сын Мадая, царь над всеми скифами, заказывает Аримасу-кузнецу, слава о мастерстве которого уже шагнула за красный полог царского шатра, украсить по своему усмотрению уздечку, нагрудную перевязь и вызолотить удила для любимого царского жеребца.

Заказ неотложный и спешный. Скоро у царского шатра соберутся со всей степи свободные скифы многих племен с лучшими своими кобылицами. Царь сам выберет единственную, достойную пару своему любимцу.

И этот выбор положит начало небывалому в степях царскому празднику. Царь над всеми скифами приглашает Аримаса-кузнеца к своему шатру. И друга Аримаса, сына сколотов. И жену Аримаса. Ведь у него есть жена? Пусть приезжает с ней.

Агния чему-то улыбалась во сне.

Скрыться сейчас — значило навлечь на себя гнев Мадая. Да и где скрываться? Повсюду в степях у царя были глаза и уши. Днем и ночью могла догнать неугодного отравленная стрела.

А может быть, мы просто преувеличиваем свои страхи? Ну что за дело царю над всеми скифами до жены бедного кузнеца?

Что было, то прошло. Давно прошло.

Старое наше становище мы застали покинутым. Люди ушли за Борисфен, поближе к царским скифам, под их защиту. Многие бросали кочевать, оседали на черных, жирных землях, становились хлебопашцами. Упорствующие в кочевой вольной жизни смешивали табуны свои и стада, роднились племенами и забредали далеко от привычных мест в поисках новых, нетронутых пастбищ. Повсюду в племенах установили твердую цену на вещи и рабов, на хлеб и вино, на скот и даже на битую дичь и строго соблюдали установленное.

Теперь на дорогах все чаще встречались хорошо охраняемые обозы иноверцев — все больше эллинов или персов,— бесстрашно заглядывающих в самые отдаленные степные пределы в надежде на удачную торговую поживу. Но в старой кузнице деда Мая гости случались редко. Поэтому Аримас особенно старался искусной работой умножить слух о редкостном своем мастерстве.

Глядя на завершенные им изделия, мы с Агнией дивились вдохновенной силе его труда, жалели, что придется расстаться с этой красотой, которую всегда хотелось бы иметь перед глазами.

Без утайки мы рассказали Агнии о ночном посещении царского телохранителя и передали приглашение Мадая. Мы думали остеречь ее этим, но неожиданно для нас Агния загорелась ехать на царский праздник. Аримас, растерянный и сердитый, кричал, что скорее он убьет жену своей рукой, чем позволит ей показаться на глаза Мадаю Трехрукому.

Тогда Агния измыслила хитрость. Она тайно сшила себе мужскую одежду, спрятала под островерхой шапкой свои кудри, опоясалась мечом и верхом на старой крапчатой кобыле, за ненадобностью оставленной у нас кем-то из заказчиков, однажды появилась около кузницы и засвистала, вызывая нас наружу.

Мы не сразу угадали, что за бравый парень оседлал нашу клячу и вертится на ней у коновязи. Агния пришла в восторг. Она убедила Аримаса, что в праздничном многолюдье никто не заподозрит в ней

женщину, что она будет тише воды и ниже травы и не попадется на глаза Мадаю и его людям. И во всем будет послушна мужу и мне, своему брату. Она, конечно, не поедет, если мы трусим. И Аримас согласился.

Целыми днями мы трудились в кузнице. Агния, наскучив хозяйственными своими хлопотами, садилась на крапчатую кобылу и уезжала к высокому кургану, под которым покоился прах царицы и ее раба. Она забиралась на самую вершину кургана и подолгу просиживала там, обхватив руками длинные свои ноги и уперев подбородок в колени.

Старая кобыла шумно вздыхала, перебредая с места на место, чтобы нарыскать сладкую лечебную травку, а Агния оставалась недвижной, следя птичьи пути в небе над степью и думая о чем-то своем.

— Ведут! Ведут! — заорали мальчишки, перебегая во всех направлениях широкое, устланное дорогими коврами открытое пространство перед царским шатром.

Со всех концов огромного праздничного лагеря люди устремились к шатру. Пьяная толпа опрокинула тяжелый бронзовый котел, обдав горячим бараньим жиром замешкавшихся обжор. Всадники немилосердно давили пеших, торопясь занять места поближе к шатру, а пешие, озлясь, сдергивали их с коней и сами локтями, лбами, кулаками прокладывали себе дорогу к самым коврам.

— Ведут! Ведут!

Телохранители царя, грозя уставленными копьями, оттеснили первые ряды прочь с ковров и сомкнулись подковой, колотя короткими древками жаждущих пролезть сквозь заслон. Вооруженные конные воины с наскоку врезались в давку и, полосуя нагайками, с трудом проложили узкую просеку до ближайшего холма в густом многолюдье за шатром.

Сбивая нестройный гомон толпы, звонко и торжественно пропел боевой рожок. Мадай Трехрукий, царь над всеми скифами, вышел к гостям из шатра. Приветственный рев сотен глоток взмыл над степью и оборвался при виде золотого жеребца на вершине холма.

Пурпурное покрывало ниспадало с боков к передним ногам коня. Ветер тронул легкие эти ткани, взвил их над конем, и, казалось, конь не спускается с холма, а летит над степью на широких багряных крыльях.

Толпа раскачивалась, подвывая от восторга. Крылатый жеребец медленно плыл к царскому шатру.

В степи не нашлось такого дурака, который не захотел бы породниться с царем, пусть даже через свою кобылицу. Из множества приведенных царь придирчиво отобрал десять лучших. Избранницы эти ревностно оберегались от отравы, увечий и дурного глаза царской стражей и зверского вида бородачами из хозяйской родни.

Сегодня жеребец должен был сам решать, которая из красавиц — царская. Жеребец сразу обнаружит свой выбор любовным призывом: мощное, страстное ржание отметит счастливицу и прозвучит золотой музыкой в ушах ее владельца.

Широкое позлащенное копыто ступило на мягкий ковровый настил. Подвыпившие гости царя громко переговаривались, восхищенные. Глубокую грудь жеребца покрывал тонкий панцирь. Лик Великой Табити-богини выступал из черненого золота, обрамленный тугими завитками змей-волос. Солнце перекатывалось в фигурном литье, и казалось, что змеи извиваются, крепко вцелившись сомкнутыми челюстями в нагрудные ремни, скрепляющие покрывало на холке. Вспыхивали золотые огоньки в гневных глазах богини. Улыбался мягко оттененный рот ее с озорно выставленным между зубов кончиком языка.

Выпуклость панциря была неотделима от совершенных форм коня. Золотое литье — под стать медовой масти, и представлялось, что сама Змееногая влетела в грудь прекрасного коня, чтобы явить толпе лик свой, пугающий и манящий.

— Красиво...— прошептал Аримас, восторженно и робко, будто не сам он, а кто-то другой вызвал к жизни этот странный образ.

Агния стояла в толпе между нами и не отрывала взгляда от высокой, грузной фигуры царя Мадая. Вот он поднял над головой руки, хлопнул в ладоши. Снова запел боевой рожок.

На ковры перед шатром вывели первую избранницу. Даже из самых дальних рядов было видно, как гордо посажена у нее голова, какая челка, какие лиловые, продолговатые, влажные глаза. Жеребец навострил уши.

— Тихо! — внезапно закричал кто-то в толпе.

Слуги по бокам жеребца присели, с усилием сдерживая растянутые поводья.

— Хг-мм! — выдохнул жеребец в полной тишине.

Растяжку ослабили. Жеребец потянулся к Мадаю, играя, ухватил губами за плечо. Толпа веселым гулом проводила отвергнутую.

— Эта ему не нравится,— пробормотал рядом со мной пожилой скиф,— не нравится ему эта.

Теперь выступала вороная, поджарая, профиль — как у жены фараона. Шла, раскачивая крупом, мела хвостом по коврам.

— Тихо! — снова прокричал тот же голос.

Полная тишина. Напряженные спины слуг.

— Хммм...— И все. Все?

Одна кобыла сменяла другую. Все напрасно. Бесславно увели последнюю избранницу. В толпе нарастал неудержимый смех.

И вдруг, непонятно как проникшая за заслон, из-за шатра появилась наша старая крапчатая кобыла. Толпа взорвалась хохотом. Кобыла шла по царским коврам, понурив голову и растопырив уши, лениво обмахиваясь жидким хвостом.

— И-и-и-и-а-г-р-ммм! — это не ржание, это рев льва, это гром, это песня.

— Аааа! — заволила толпа.

За всколыхнувшимися спинами я увидел золотую разметанную гриву, стрелами торчащие уши.

— И-и-и-гррр! — толпа бросилась врассыпную.

Я побежал с толпой, потерял Аримаса и Агнию, упал, вскочил, побежал обратно. Аримас уже сидел на кобылке и лупил ее пятками в бока, стараясь увести от шатра. Жеребец, не переставая петь свою песню, волочил по коврам обоих слуг, вцепившихся в поводья. Повсюду плясали мальчишки.

Праздник кончился.

Царь укрылся за красным пологом. Знатные гости поспешно разошлись по своим шатрам. Только слуги и охрана продолжали стоять вокруг царского жеребца, ожидая приказаний и томясь дурными предчувствиями. Но царь как будто забыл о своем любимце.

Мы с Аримасом метались по огромному праздничному лагерю, разыскивая Агнию. Ее нигде не было.

Когда Аримас обращался к людям с расспросами, от него отшатывались, как от чумного. Люди показывали пальцами ему вслед. Теперь гневный лик Табити-богини с озорно высунутым дразнящим языком породил неуемную тревогу в людских сердцах.

«Недаром этот кузнец выковал такой образ,— стали перешептываться люди,— сама Змееногая направляла его руку. Разве не она, Табити, провела невидимой через живой заслон охраны старую крапча-

тую кобылу? Разве не она вдохнула нелепую страсть в сердце прекрасного царского жеребца, чтоб унизить царя перед всеми скифами? Зла любовь — кто-кто, а старый Мадай должен был помнить об этом. Но не только смеяться умеет Великая...»

Вспомнили люди, как перебегали гневные искры в глазах богини, осознали, как глупо хохотали ей прямо в лицо, и страх охватил их. А когда черные, низкие тучи внезапно заволокли небо над степью, толпа, стеная, сгрудилась вокруг большого жертвенного камня и, подставляя спины порывам холодного ветра, разожгла пламя.

Едва огонь окреп, в него полетели меховые шапки, колчаны, гориты, ножны, деревянные походные чаши, пояса. Кто-то швырнул в пламя содранные с ног, густо расшитые бисером сапоги. Все, что было ценного на них и при них, когда смеялись они в лицо Табити-богини, люди бросали теперь в жертвенный костер, стремясь отвести от себя гнев Змееногой. Пламя бушевало, пожирая людские подношения, металось под ветром, опаляя сухим жаром лица столпившихся вокруг камня людей.

— Знак, дай нам знак, Великая!..— сложилось из разноголосого ропота толпы и вместе с пламенем поднялось к черному небу.

— Знак... дай нам знак...

Будто могучие руки разодрали сплошную завесу туч. Белая молния шипя, как змея, ударила в холм позади царского шатра, и яростный грохот оглушил степь.

Люди пали ниц вокруг жертвенного камня и лежали так, не смея поднять перекошенных ужасом лиц, захлебываясь в потоках рухнувшего на них ледяного ливня.

— Жертву! Жертву, достойную Великой...— прорыдал чей-то голос.

Люди поднялись как один. Толпа превратилась в огромного зверя, многоглазого, многорукого, жаждущего немедленно, сейчас же утопить в горячей крови первой попавшейся жертвы звериный свой страх.

Царский жеребец в мокрой, обвисшей попоне все еще стоял у шатра на взбухших от воды коврах. Глаза человеческого зверя остановились на нем. Вот она, жертва, достойная богини!

И зверь, дрожа и задыхаясь от страха и ярости, потек к шатру, многоного оскальзываясь в жидкой грязи.

Толпа нахлынула, давя охрану, повалила коня, подмяла под себя. Царский любимец, оскорбленный причиненной ему болью, забился отчаянно, раздавая смертоносные удары золочеными своими копытами. Десятки рук вцепились в него, сорвали пурпурную попону и панцирь, сковали движения. Помятого, искалеченного толпа подняла коня на плечи и поволокла к жертвенному камню. В опьянении священного восторга люди втаптывали в грязь лик богини на раздавленном ногами панцире.

Костер, залитый дождем, погас. Поднимать пламя не стали. Жертву притиснули к мокрому боку черного камня. Торопясь, вытащили ножи.

— Не сметь, собаки!

Толпа обернулась на окрик. Мадай Трехрукий, царь над всеми скифами, шел от шатра прямо на толпу, высоко неся седую голову, словно не видя людей перед собой. Мокрые волосы облепили лоб, глаза глядели мертво и страшно. Обнаженный клинок подрагивал в опущенной руке.

Толпа смутилась. Перед царем расступались, но снова смыкались за его спиной, напряженно выжидая. Царь остановился у черного камня. Жеребец потянулся к хозяину, тоненько заржал. Толпа надвинулась в недобром молчании. Люди не прятали приготовленных ножей.

— Я сам,— тихо сказал коню Мадай.

Он схватил за уздечное кольцо, вздернув конскую голову, коротко взмахнув, полоснул клинком.

— Слава тебе, Табити-богиня! — истошно завопили люди, валясь вслед за конем к подножию черного камня.

Мадай повернулся и пошел прочь, наступая на тела лежащих в молитве. Он скрылся в шатре, не оглянувшись. Люди, ликуя, принялись разделывать тушу золотого царского жеребца.

В шатре было полутемно. Светильники еще не зажигали, и сумеречный сиреневый отсвет грозового этого дня лежал размытым пятном вокруг опорного столба, на коврах, разбросанных подушках и блюдах с остатками трапезы.

Шум дождя был здесь почти не слышен, но отдельные капли, ударяя в края защитной крыши над очажным кругом, заставляли ее звучать непрерывным медным гулом.

Мадай долго простоял без движения, вслушиваясь в заунывный этот гул, уставя глаза в большое серебряное блюдо, до блеска вылизанное усердными едоками. Дождевая капля, заброшенная порывом ветра под щитовой заслон, с разлету звонко цокнула в самую середину блюда, выведя царя из оцепенения.

И сразу же все беды этого дня навалились на него, сокрушая и топча последнюю волю к жизни. Внезапная дрожь подломила колени и стала подниматься зябкой волной, сотрясая сильное и тяжелое его тело и удушьем подбираясь к горлу. Стуча зубами, Мадай опустился на ковер и только тут заметил, что все еще сжимает в ладони рукоятку меча. Содрогаясь, он отбросил оружие. Меч пролетел мимо опорного столба, сверкнув лезвием в грозовом отсвете, и беззвучно канул в темноту. Мадай проводил его взглядом. Там, в темноте, куда упал его меч, происходило какое-то неясное движение. Что-то приближалось оттуда к Мадаю, а что это было или кто — Мадай не мог определить. Он хотел окликнуть, но дрожь отняла голос.

Из-за столба выдвинулось нечто бесформенное, растрепанное. В неясном, быстро убывающем свете медленно проступили очертания лба, с глубоко запавшими темными глазницами под ним, обозначился нос и рот, растянутый в жуткой, мертвенной улыбке. Кольца змей-волос сплетались вокруг лика и тонули в темноте. Кончик высунутого языка подрагивал между зубами.

Табити-Змееногая!

— Сейчас ты умрешь! — произнес лик.

«Я готов! — хотел ответить Мадай.— Я не был счастлив в этой жизни. Быть может, там...»

— Агния! — вдруг громко крикнул кто-то в шатре, и Мадай узнал свой голос, молящий и жалкий.

Вспышка пламени озарила стены, отринув мрак. Круглая шапка Массагета заслонила лик богини. Лязгнуло оружие. Старый меч царя упал, ударившись о серебряное блюдо, и, вызванивая, завертелся по ковру, сшибая кувшины.

Но Мадай уже не видел это. Силы оставили его.

Дождь лил не переставая. Он не дал развести огонь вокруг врытых в землю больших медных котлов. Поэтому около черного камня пылал огромный общий костер. Временами багровые сполохи вырывали из темноты цвета даже самых дальних шатров и кибиток.

Тени пляшущих людей бесновались на расхлябанной дождем, широко освещенной земле, корчились, сливались, разбегались, бросались под свалившихся с ног или бесконечно вытягивались, соединяясь с мраком, когда человек почему-либо отдалялся от огня.

Баранов, пригнанных из степи, резали тут же. И, насадив куски мяса на острия копий, протягивали к жару костра. В эту ночь перепились все, даже женщины. Они сквернословили наравне с мужчинами, громко горевали и жадно веселились. То тут, то там вспыхивали драки, слышались женский визг, рычание мужских голосов. И все это тонуло в шуме дождя, в нестройном пении обезумевших людей и в диком их хохоте.

Мы с Аримасом напились вместе со всеми и, не принимая участия в общем буйстве, всю ночь бродили под дождем, спотыкаясь о распростертые пьяные тела, отчаявшись найти Агнию.

Красный шатер царя высился недалеко от черного камня и казался тоже огромным костром, холодным и застывшим. Бродя по лагерю, Аримас то и дело останавливался и подолгу ощупывал глазами четко высвеченный купол шатра с медной крышкой наверху, от которой искрящимся веером разлетались дождевые капли.

Под утро, когда даже самые испытанные гуляки свалились от усталости, Аримас, не сказав мне ни слова и не оборачиваясь, твердой походкой направился к царскому шатру.

Я выбрался из-под чьей-то кибитки, где мы провели без сна остаток ночи, и поспешил за ним. Я догнал его, и мы пошли рядом. Я не знал, не мог постичь, зачем он идет туда, что собирается делать, но что-то необъяснимое удерживало меня от расспросов. Может быть, выражение его лица — гордое и отрешенное.

Таким я уже видел его, когда мы скакали рядом в отрядах Черного Нубийца, чтобы принять смертельный бой со своими братьями. Так же хищно горбатился орлиный этот нос, так же плотно были сжаты тонкие губы под редкими усами, так же далеко и пристально смотрели эти глаза.

Выпитое накануне и бессонная ночь не оставили никаких следов на лице Аримаса. Только темные тени легли под глазами, подчеркивая острую и светлую их голубизну.

Начальник царских телохранителей вышел нам навстречу так, будто давно поджидал нас. Он не выразил ни удивления, ни протеста, узнав о желании Аримаса видеть царя над всеми скифами. Только потребовал сдать оружие.

Повинуясь взгляду Аримаса, я отстегнул пояс вместе с мечом и протянул его Хаве-Массагету. У Аримаса не было оружия, но Хава, тихим свистом вызвав из шатра еще двоих, велел им осмотреть кузнеца. И сам, приняв от меня меч, легко провел быстрыми ладонями по моей одежде от плечей до лодыжек. И вслед за Массагетом мы шагнули за красный полог.

Несмотря на то, что утренний свет уже пробивался в шатер, светильники горели повсюду. Золотые отблески перебегали по белым войлокам среди вышитых ярких цветов и диковинных птиц.

Массагет, неслышно ступая по коврам, нырнул за второй, внутренний полог, оставив нас одних.

Время тянулось бесконечно медленно. Мне показалось, что я разгадал намерения Аримаса. Я уже готов был спросить его об этом, но белый полог заколыхался, и Мадай, сын Мадая, царь над всеми скифами, предстал перед нами во всем великолепии царского одеяния.

Белая атласная рубаха, схваченная широким наборным поясом, с которого свисал маленький кинжал, закрывала ноги ниже колен. Черная с проседью борода рассекала сплошную полосу позолоченных наплечий. По коврам волочился длинный багровый плащ, нижний край его царь небрежно отбросил в сторону ногой, обутой в расшитый золотом мягкий красный скифский сапог.

Головного убора на царе не было. Седые длинные волосы, открывая одутловатые щеки, были стянуты к затылку и убраны за спину. Тяжелая золотая серьга покачивалась в мочке левого уха, рассыпая кроваво-красные рубиновые искры.

Выйдя и дав нам рассмотреть себя с ног до головы, Мадай медленно опустился на высокие подушки, услужливо взбитые массагетовой рукой. Не поднимая на нас взгляда, царь протянул руку, унизанную перстнями, и произнес:

— Говори.

— Царь,— сказал Аримас странно высоким и глухим голосом,— отдай мне жену.

Мадай нахмурился. Казалось, он с пристальным вниманием изучает вышивку на ковре под ногами.

— Это ты послал ее убить меня?

— Нет, царь,— спокойно и твердо ответил Аримас.

— Я верю тебе,— тихо сказал Мадай. Вдруг он вскинул голову. Узкие черные глаза его округлились.— Ты не посылал ее,— прохрипел Мадай.— Ты только выковал лик Табити-богини, чтобы навлечь на меня ее гнев. Ты воспользовался правом делать что тебе угодно и употребил это право против меня! Ты...

Он задохнулся. Седая прядь выбилась из прически и прилипла к взмокшему лбу. Мадай раздраженно махнул рукой в сторону Массагета. Хава подскочил и наполнил простую деревянную чашу вином из кувшина. Мадай пил маленькими глотками, не сводя с нас взгляда. Потом он откинулся на подушки и закрыл глаза. Массагет убрал чашу.

Медная крышка над очажным кругом гудела назойливо и заунывно.

— Где моя жена? — раздельно выговаривая слова, спросил Аримас.

Мадай вдруг усмехнулся.

— О ком ты говоришь? О черной рабыне, которая покушалась на жизнь царя над всеми скифами?

Он не изменял позы и не открывал глаз.

— Сейчас она развлекается с моей охраной. А если окажется малопригодной к такому веселью, я прикажу ее задушить.

Он выждал тишину и, открыв глаза, впился взглядом в Аримаса. Лицо Аримаса было белее войлоков царского шатра. Он стоял прямо, выпятив грудь, только пальцы судорожно мяли края короткой куртки.

— Моя жена — свободная скифянка... Агния...

— Врешь! — Мадай вскочил. Красный плащ метнулся за ним, накрыв и загасив светильник.— Врешь! — Мадай, дергая щекой, приблизил свое побагровевшее лицо к лицу Аримаса. Они почти соприкасались носами.— Она отродье моего раба и моя рабыня. Понял, кузнец? — Он круто повернулся и пошел в глубь шатра, волоча за собой плащ.

Я делал над собой неимоверные усилия, но слезы заполнили мне глаза и теперь скатывались по лицу... Я не стал их утирать.

Мадай мерил шатер широкими шагами.

— Впрочем,— сказал он, останавливаясь и глядя вверх под очажной заслон, откуда ясным потоком потек утренний свет,— ты можешь ее выкупить. Что ты дашь мне за нее?

— Все, что имею! — крикнул Аримас.



— Все, что имеешь,—медленно повторил Мадай.— Молот и наковальню, пару коней с кибиткой да десяток худых баранов. Не дорого же ты ценишь царскую рабыню.

— У меня больше ничего нет, царь.

— Опять врешь,—сказал Мадай.— У тебя есть глаза. Твои глаза, которые сумели увидеть лик Великой богини, незримый для простого смертного. Давай меняться: я верну тебе мою рабыню, твою жену, а ты оставишь мне свои глаза. Что, согласен?

— Да! — не раздумывая, ответил Аримас.

— Люди! Люди! — запрокинув голову, кричал Аримас. Дождь хлестал ему прямо в лицо. Кровь из пустых глазниц залила щеки, бороду и двумя темными полосами проступала на мокрой куртке. Агнию он крепко держал за руку.

Люди, сбежавшись со всех сторон огромного лагеря, широким кольцом обступили кузнеца и его жену. Все молчали, потрясенные, не смея даже перешептываться.

— Люди! Люди! — звал Аримас.

— Мы здесь, кузнец! — крикнул кто-то из толпы.— Мы с тобой.

— Я Аримас, внук Мая-кузнеца, свободный скиф. Вот моя жена.— Он поднял руку Агнии, сжав ее в своей ладони.— Я любил ее, люди, и думал, что она любит меня. Но она обесчестила и себя и меня.

Он повернул к Агнии голову, взглянул пустыми глазницами. Потом снова запрокинул лицо и закричал:

— Вы все видите: я смыл бесчестье своей кровью! Пусть и она смоет своей!

Он протянул к толпе руку, растопырил пальцы.

— Кто-нибудь, дайте мне меч.

Пожилой скиф вошел в круг, вынул меч-акинак из старых ножен, поцеловал клинок и вложил рукоятку в ладонь Аримаса.

— Свободные скифы! — Аримас поднял меч высоко над головой.— По законам скифской воли спрашиваю вас: кто хочет взять в жены обесчещенную эту женщину? Пусть выходит биться со мной, чтобы своей кровью смыть ее позор.

Все глядели на меня, когда я вступил в круг.

— Есть ли кто-нибудь? — выждав, крикнул Аримас.

— Есть! — многоголосо ответила за меня толпа.

— Назовись! — Аримас крутил головой, пытаясь угадать, где стоит его будущий противник.

— Я, Сауран, сын сколотов, свободный скиф, хочу взять в жены эту женщину и обещаю, соблюдая обычай, биться с тобой до первой крови.

Клинок дрогнул в руке Аримаса. Я повернулся и оглядел круг.

— Пускай давший свое оружие подойдет и завяжет мне глаза.

Пожилой скиф подошел и положил мне руку на плечо.

— Доверяете ли вы, люди, этому человеку судить наш поединок?

— Доверяем! — закричали голоса.— Пусть поклянется!

— Клянусь! — громко крикнул скиф.— Клянусь недремлющим пламенем великого бога Агни!

Я сбросил куртку, снял рубаху и, разорвав, подал скифу длинную полосу ткани. Сложив ее вдвое, он обвязал мне глаза, туго стянув узел на затылке.

— Отведите женщину в сторону,— услышал я голос пожилого скифа и шлепанье многих ног по грязи. Потом настала тишина, только дождь шелестел.

— Агой! — И скиф легонько толкнул меня в плечо.

Я пошел, неуверенно ступая, выставив вперед руку с мечом. Повязка сдавливала голову, врезаясь в переносицу. Пройдя совсем немного, я остановился и прислушался. Постепенно сквозь шум дождя я начал различать чьи-то осторожные шаги впереди слева. Тогда я нарочно сильно ступил в грязь несколько раз и снова замер. Шаги затихли, но скоро послышались снова, приближаясь. Совсем приблизились. Я сделал короткий, несильный выпад в пустоту и, присев, закружил меч перед собой, стараясь оборонить голову и грудь. Вдруг болезненный укол сзади в лопатку заставил меня круто развернуться. Меч Аримаса свистнул у меня над головой, сталь задела о сталь, я рассек клинком воздух, поскользнулся и упал.

Я неловко пытался вскочить, когда услышал голоса людей и быстрое шлепанье чьих-то ног по воде. Кто-то навалился на меня, снова отбросив на землю, потом толпа взревела, тело, придавившее меня, дернулось, чьи-то руки сорвали с глаз повязку.

Сначала я увидел Аримаса, топтавшегося на одном месте, в двух шагах от меня, и только потом...

Пожилой скиф быстро поднял на руки беспомощное тело Агнии.

— Продолжайте! — крикнул он твердым голосом и, поймав мой взгляд, отрицательно помотал головой.

Люди надвинулись так тесно, что, протянув руку, я мог бы их коснуться. Я посмотрел на Аримаса. Клинок его меча был весь в крови. Аримас сделал несколько неверных шагов в сторону толпы. Люди отхлынули.

— Сауран,— вдруг позвал он и остановился, опустив меч, видно, вслушиваясь.

— Она мертва,— шепнул мне пожилой скиф в самое ухо.

Голова Агнии бессильно свесилась, рот был полуоткрыт, губы уже побелели.

— Сауран,— снова позвал Аримас с возрастающей тревогой в голосе.

Скиф бережно положил Агнию на протянутые из толпы руки многих людей.

— Ответь ему,— шепнул мне скиф.

— Я здесь,— сказал я.

Аримас резко повернулся на звук моего голоса.

— Ты ранен, брат мой? — спросил он.

Я беспомощно посмотрел на скифа. Он энергично кивнул головой.

— Да,— ответил я.

Аримас уронил меч и, выставив вперед руки, пошел ко мне.

Скиф обхватил меня за плечи и заставил лечь на землю, лицом вниз. Я тогда не понимал, зачем он это делает, но слушался беспрекословно. Аримас наткнулся на меня, упал на колени, ощупывая мою голову, спину, и отдернул руку, коснувшись лопатки.

— Брат мой, брат мой, брат мой,— без конца повторял Аримас.

Я сел и обнял его.

— Мои глаза,— вдруг сказал Аримас.— Мои глаза! — закричал он.— Я больше не смогу никогда, никогда...

Он захлебнулся в рыданиях. В толпе эхом заплакала какая-то женщина. Внезапно Аримас вскочил на ноги.

— Агния! Где Агния?

— Она убежала,— ответил пожилой скиф.— Мы не смогли удержать ее. Люди могут подтвердить мои слова.

— Она убежала,— сказали люди.

Аримас бросился на землю и лежал неподвижно, закрыв ладонями пустые глазницы. Дождь кончился.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Сикерс, — ответил ложилой скиф. — Я сделаю все, как ты просишь. Мы лохороним ее в кургане царицы Агнии Рыжей со стороны восхода. Я сам принесу в жертву зту старую кралчатую и обоих ваших коней. Ты можешь на меня положиться.

— Ты не боишься немилости Мадая?

— Я ничего не боюсь. — От его грустных серых глаз разбежались веселые морщинки. Ровные зубы молодо блеснули в рыжеватой курчавой бороде.

— Да будут боги добры к тебе. Сласибо за все.

— Прощай. Может быть, еще встретимся когда-нибудь. Стулай к своему другу, его нельзя сейчас оставлять одного. — Он легко запрыгнул на слину высокого гнедого жеребца. — Сикерс. Запомни. Сикерс, который боится только одного —ислугаться.

И с места поскакал полным махом, припав к шее коня.

Когда я очнулся еще раз, совсем рассвело. Значит, второй день Аримас будет ждать моего возвращения. Он будет ждать еще долго, ведь он верит, что я найду Агнию.

Бедро одеревенело, я с трудом ловернулся на бок. Хава-Массагет прилоднял голову и смотрел на меня из-под уродливо распухших век. Ничего, я все-таки переживу тебя, Зубастая Овца. Я хочу лосмотреть, как ты будешь подыхать. Еще один валялся, скорчившись, на склоне холма. На нем уже сидело воронье. Третьего не было видно. Его я уложил там, за холмом.

Если бы удалось поймать лошадь, я, может быть, выбрался бы отсюда. Но обе уцелевшие лошади их сразу ускакали в стель. А теперь сюда не забредет никакой конь: зверье вокруг уже почуяло падаль. Вчера я слышал волчий вой.

Малая плата за глаза Аримаса, но с паршивой овцы, с паршивой Зубастой Овцы хоть шерсти клок.

Хочется пить. Я вылизываю росную траву и дышу, как собака, высунув язык.

Массагет что-то лробормотал. Опять бормочет.

— Добей меня, сын сколотов. Добей меня.

Только бы не лотерять сознание. Я сжимаю зубы и, медленно перекатываясь по склону холма, приближаюсь к Массагету.

— Добей меня, сын сколотов.

— Поклянись... Нет, не надо. Мы лучше вместе дождемся часа, когда шакал будет грызть твою поганую рожу, а у тебя не станет сил его даже отогнать.

Хава застонал.

— Ты мне не веришь, — зашелтал он, — а я знаю... знаю, что тебе нужно. Агния была... — Он тяжело дышал, проводя ло выбитым зубам лосиневшим языком. — Она была там, за пологом, когда вы пришли. Я только связал ее и заткнул ей рот. Мадай не лозволил тронуть ее пальцем...

Я нащупал на лоясе нож и, лривстав на руке, вогнал лезвие ему в глотку. Он захрипел и выкатил глаза.

На вершину холма поднялся волк. Нет, зто не волк. Всадник остановил коня и оглядел ложбину, в которой мы лежали. Потом слешился и стал слускаться ло склону. Воронье слетело с трупа и закружилось над живым. Вот осмотрел труп, идет ко мне. Мадай!

Я стиснул нож в руке. Я притворюсь мертвым, а когда он подойдет... Мадай склонился надо мной. Я выбросил руку с ножом. Трехрукий увернулся, железной хваткой сковал мое запястье, легко вырвал нож.

Ну, что ж, смотри, царь, как умеют умирать твои скифы.

Мадай присел возле меня, вслорол ножом штанину, осмотрел рану. Потом отстегнул короткий свой ллащ, крелко и больно обернул им мою ногу. Схватив за руки, поволок ло траве вверх ло склону. На самой вершине лодхватил лод мышки и рывком взвалил на слину своему коню.

— Держись за чепрак! — приказ. И огрел коня плетью.

Когда конь взбирался на соседний холм, я олять увидел Мадая. Он сидел, сгорбившись, уронив голову в колени. И если бы я не знал Мадая Трехрукого, сына Мадая, царя над всеми скифами, я бы поклялся, что он плачет.

Агой!

Засылать становится страшно. Расцвеченная странными зорями мгла, следуя ударам сердца, медленно и неотвратимо пожирает бесчувственное тело, расчленяя его сустав за суставом.

И все, что я есть, собирается в душе моей, недремлющей и неразделимой. И зта душа, вдруг рванувшись, уносится неведомо куда, оставляя бессильному телу быстрое ощущение ужаса расставания и жуткой радости от мимолетного прикосновения к торжествующей тайне вечной жизни.

Первое, что я чувствую, просылаясь, — это ветер. Горький и колючий запах ветра. Лежа с закрытыми глазами, я жадно втягиваю его, расширив ноздри. Сквозь щелки век, за сеткой ресниц я вижу кончик своего носа, блестящую от пота розовую раковину ноздрей. Это мой нос. Это я. Бесценный и лрекрасный я сам. Какое счастье лежать и разглядывать свой нос, врезавшийся в слепящее светом небо!

Я лежу на спине. Затылком, лолатками, левой ягодицей и пяткой я чувствую свою тяжесть, тяжесть земли, локачивающей меня, как в колыбели. И вот только телерь я начинаю слышать. Я слушаю тишину, мерно гудящую во мне. Этот гул, сллетаясь с залахом ветра, сливается в зримый образ: тень коня и всадника на леске.

Волны Меотийского озера, неутомимо набегая, целуют белые от соли губы дюн.

Я лроснулся, о боги! Я лроснулся.

Поднимайся и ты, брат мой. Не отставай, клади мне руку на плечо. Идем.

Там, у самого моря, стоит белый город Ольвия. Может, Агния ждет нас в лрекрасном зтом городе. Не слеши, брат, нам незачем спешить. Где бы она ни встретилась, мы узнаем ее сразу, даже с закрытыми глазами.

●



Наталья ХМЕЛИК

ПОЛЬСКИЕ ПЛАСТИНКИ

РАССКАЗ

Рисунок Е. МУХАНОВОЙ.

Таня увидела Мишу в первый раз, когда пришла с мамой в гости к ее подруге. Он вылез из-под стола, бросил на пол красный паровоз с желтой трубой и сказал:

— Мне уже шесть, седьмой, а тебе?

— Мне тоже,— сказала Таня.

В тот день он подарил ей медведя.

Оранжевый медведь с коричневыми глазами вот уже много лет сидит на диване. От пылесоса на нем свалялась шерсть.

Каждого своего знакомого Таня относит к одной из трех категорий: друзья — это те, которых Таня любит кормить, приятели — это те, с которыми она любит ходить в кино; в остальных можно влюбиться.

Миша не входит ни в одну из категорий. Он называется «друг детства». Она любит его кормить, ходить с ним в кино и любит ходить к нему в гости и слушать польские пластинки. Он звонит и говорит:

— Приезжай, есть новый диск.

И она приезжает. Однажды он сказал:

— Приезжай, есть новый диск.

— У меня народ,— ответила Таня,— я не могу.

— Можешь приезжать с народом. Я его знаю?

Таня засмеялась и сказала:

— Нет, не знаешь.

Миша тоже засмеялся и спросил легким голосом:

— Как его хоть звать-то?

— Лешка, конечно,— сказала Таня.

— Привози,— сказал Миша и положил трубку.

Они сидели на кухне, Миша варил пельмени, а Леша от смущения без конца рассказывал анекдоты:

— Обвалялся слон в муке, подошел к зеркалу и сказал: «Ничего себе пельмешек».

Таня засмеялась. Миша серьезно сказал:

— Смешно.

Потом Миша включил проигрыватель. Польские пластинки лежали в ярких конвертах, на конвертах были парни с гитарами. Обычные майки, обычные волосы — сразу видно, иностранцы. Таня села рядом с Лешей на диван. Миша подошел, дурашливо-почтительно склонил голову и спросил:

— Вы не танцуете?

— Совсем озверел,— сказала Таня.

— У тебя есть сигареты? — спросил Леша у Миши.

— Есть последняя, раскурим пополам.

Таня увидела на столе раскрытую тетрадь. Там были стихи. Она протянула руку. Миша схватил тетрадь.

— Не цапай, что за привычки,— и убрал тетрадь.

— Затылок у тебя взъерошенный,—сказала Таня.— Как будто тебе шесть лет.

Ей было почему-то жалко Мишу.

— Не строй из себя женщину с прошлым,— огрызнулся он.

В метро Леша спросил:

— А откуда ты его знаешь?

— Это мой друг детства,— сказала Таня,— мы знакомы с шести лет.— Почему-то ей стало жалко Лешу, и она добавила: — Он сын маминой подруги.

Миша не звонил неделю или две. А потом позвонил и сказал:

— А он ничего, этот твой. Не пижон. Только у него совсем нет чувства юмора. Не понимаю, как может нравиться мужик без чувства юмора.

Таня хотела сказать, что у Лешки есть чувство юмора, просто он сдержанный, но Миша не стал ее слушать и произнес целый монолог о том, что чувство юмора — это главная движущая сила нашей жизни.

— Я бы с ним в разведку не пошел,— ни с того ни с сего закончил Миша.





ИЗ КОГОРТЫ ТИТАНОВ

ТИЦИАН
Вечеллио
1477—1576

О Тициане написана уйма исследований, книг, статей на разных языках. Прослежены его влияния — прямые и косвенные — на протяжении тех четырех веков, которые нас отделяют от него, но прелесть его не тускнеет и загадочность его глобальной личности не уменьшается, а скорее увеличивается в сложной прогрессии.

Если принять версию, по которой Тициан родился в 1477 году, то он прожил век без одного года и умер от чумы в 1576 году глубоким старцем. Старшими современниками Тициана были Колумб и Коперник. Младшими — Шекспир и Джордано Бруно. Тициан был мальчиком, когда корабли Колумба проторили путь в Новый свет. Юношей был Джордано Бруно, когда закатилась звезда Тициана, великого новатора в области живописи. За несколько лет до смерти он написал картину «Мученическая смерть св. Лаврентия», леденящую сердце изображением варварской жестокости. Не взошел ли уже тогда над тициановским Лаврентием, пытаемым огнем, героический ореол Джордано Бруно?!

Чтобы представить Гамлета живым носителем губительных страстей эпохи, достаточно обратиться к портрету Ипполито Риминальди. В худощавом бледном лице — печальная настороженность, в глазах — решимость, а рука сжимает перчатку, как будто рукоять меча. И в этом замедленном жесте таится скрытая отвага, воля, прямодушие. Зато в облике очаровательной Лавинии можно усмотреть черты простодушной Офелии, доверчиво прославляющей дары юных щедрот. Образ Лавинии — излюбленный Тицианом тип женской красоты. В нем угадываются приметы сходства с Венерой Урбинской, Магдалиной, Данаей и даже с наиболее ранней по написанию многофигурной композицией «Аллегория Альфонсо де' Авалос», изображающей сладостный пир жизни.

Энгельс писал, что эпоха Возрождения породила титанов. Таким титаном был и Тициан. Перед величием тициановских полотен как бы немеешь, а слова бледнеют, мертвеют, становятся набором закостенелых штампов.

Исследователи творчества Тициана разделяют его жизнь в искусстве на два этапа. Первый — безоблачный, радостный, полный покоя, гармонии, ясности, и второй — поздний — восхождение на самую высокую вершину живописного мастерства. В первом периоде длившемся около тридцати лет, Тициан еще близок к своим учителям — Беллини и Джорджоне. Тот, кто хорошо помнит знаменитую «Спящую Венеру» Джорджоне, выставлявшуюся у нас в числе других шедев-

ров Дрезденской галереи, усмотрит в «Венере Урбинской» Тициана черты сходства с ней, а вместе с тем и различия. В «Венере Урбинской» больше пространства, простора, воздуха, дыхания, несмотря на то, что джорджоневская «Спящая Венера» изображена под открытым небом, на фоне прекрасного сельского пейзажа, а тициановская Венера лежит в глубине спальни, отстраненная от окна бархатной портьерой. И кажется, что она излучает золотистый ровный солнечный свет всем телом своим и взглядом, затуманенным ожиданием.

На склоне лет Тициан создает композиции-поэмы, насыщенные любованием чувственными красотами мира, восторженным поклонением женскому телу. Облеченные в мифологическую сюжетность, эти композиции дают нам бесценные образцы свободной манеры тициановa письма, озаренного идеями Высокого Возрождения. Сам Тициан свои мифологические картины называл поэмами, вкладывая в это слово особый, величавый смысл. К ним относятся "Персей и Андромеда», «Диана и Актеон», «Венера перед зеркалом», «Похищение Европы», «Пастух и нимфа», «Венера и Адонис», «Диана и Каллисто» и многие другие. С одной из «поэм» москвичам удалось познакомиться на недавней выставке «Сто картин из музея Метрополитен». Это «Венера и Адонис». На полотне живет пурпур богатых тканей, золотистая, приглушенная нагота тела, влага взора и радуга, пересекающая насыщенное мерцающим свечением небо.

Владея фантастической по своему совершенству живописной техникой, Тициан в последние годы создавал неповторимые красочные симфонии, благодаря чему его картины искрились, переливались сотнями полутонов. В каждой картине был свой хроматический ключ, изображение наполнялось пластическими формами красочной лепки с натуры. Изысканность прославленного тициановского колорита достигалась тем, что мастер умел извлекать колористический эффект из сопоставления оттенков ткани и обнаженного тела, из материала холста и наложенного на него мазка. Шедевром тициановской живописи по праву считается «Венера перед зеркалом», в которой предвосхищается не только пышнотелая мощь Рубенса, но и кокетливость Ватто и пластическая сила Делакруа. Из русских художников, пожалуй, Тропинин ближе всех к Тициану. Недаром его называют «золотым», подчеркивая тем самым особую приверженность Тропинина к тициановскому душному золотистому фону, тончайшим нюансам в передаче цветового движения складчатых тканей, колыхания воздушных и световых пятен. Известно, что Тициан первый применил цветовую гамму в качестве психологической характеристики портретируемых. Сколько портретов, столько и характеров. Портреты его кисти, как и портреты Рембрандта, заражают нас и по сей день скрытой душевной болью, волнением, смятением. Как не вспомнить при этом трагических героев Шекспира, духовно близких современникам Тициана!

А каким был сам Тициан? Представление о нем дает нам автопортрет, написанный в шестидесятые годы: высокий, властный старик с крупными чертами бородатого лица. Он чуть ссутулился под тяжестью темной складчатой одежды, только узкая светлая полоска воротника врезается, как луч, в серебряную бороду. Черная шапочка маэстро обостряет матовую напряженность мускулистого профиля.

В автопортрете обнажена своего рода мускулатура духа великого старца, обрекающего его на бессмертную славу. Пальцы правой руки нежно сжимают хрупкую кисть. Он полон жажды и воли творить, тем самым давая понять всем своим врагам и недоброжелателям, что и в старости Тициан не намерен уступать никому лавры первого живописца. А ведь именно в эти годы Тициан подвергается нападкам со стороны своих недругов и хулителей. Завоеванная в неустанном труде и совершенствовании неслыханная свобода живописного изображения вызывала тайную и явную неприязнь современников. По мнению всеведущего Вазари, было бы лучше, если бы Тициан более тщательно заботился о сохранении той репутации, которую он приобрел в свои ранние годы, «когда талант его еще не был на склоне». Другой современник Тициана не без тайного злорадства отмечает, «что он уже не видит, что делает, и что его рука настолько дрожит, что он ничего не заканчивает, оставляя все помощникам». Сохранились драгоценные свидетельства того, как яростно работал Тициан над своими полотнами, уподобляясь то доброму хирургу, убирающему все вредоносное, то злейшему врагу, безжалостно расправляющемуся со своим детищем, то придирчивому музыканту, наводившему последнюю ретушь нервным постукиванием пальцев, а когда и это не удовлетворяло его, то он запускал руку в палитру и, словно ваятель, лепил красками желанный образ. Так достигал великий мастер неповторимого звучания своего прославленного красочного хроматизма.

На картины Тициана трудно смотреть вблизи. Они тяготеют к монументальному искусству, предназначены для постижения целиком и всеохватно. Вглядываясь в мерцающие колеблемым светом полотна Тициана, ловишь себя на страстном желании постичь тайну его искусства, с такой удивительной безошибочностью воплотившего красочные оттенки мира.

Рожденный как художник Венецией, небо которой, как, впрочем, и небо любого другого уголка земли, украшено прелестной живописью света и теней и жители которой испокон веков умели дивиться разнообразию оттенков, являвшихся взору, Тициан пытался выразить природу с такой силой естественности, на какую до него никто не был способен. Вот уже более четырехсот лет, глядя на золотистую ткань земли, облитую солнечными лучами, на семицветную радугу, вставшую после грозы, на ликующие девичьи волосы, на благородную оливковость мудрой старости, запечатленные замечательным тициановским мазком, тициановским колоритом, тициановским светом, люди благоговеют перед мастерством Тициана. «Св. Магдалина», «Св. Себастьян», входящие в сокровищницу нашего Эрмитажа, несут на себе следы титанической борьбы художника за право жить по законам счастья, правды, красоты, разума. Он умирал, терзаемый жуткой жаждой постичь гармонию мира, пусть даже ценой нечеловеческого страдания.

Полотна Тициана рассеяны по разным музеям мира. Среди спасенных шедевров Дрезденской галереи «Динарий кесаря» и «Дама в белом» выставлялись и в нашей стране. На последней выставке живописи из музеев США мы познакомились с менее известными работами Тициана — «Рануччо Фарнезе» и «Мужчина с флейтой».

Блок называл Тициана вдохновителем передвижников. Андрей Вознесенский поднял имя Тициана на знамени своей поэзии. Эдуардас Межелайтис в одной из своих микропоэм взывает к светоносной правде Тициана:

Спокойно мое лицо, словно холст живописца. Я знаю
Судьбу свою. И да сбудется... Ты свою участь постиг!

Тициан из когорты титанов. Мы постигаем его всю жизнь.

Маргарита НОГТЕВА

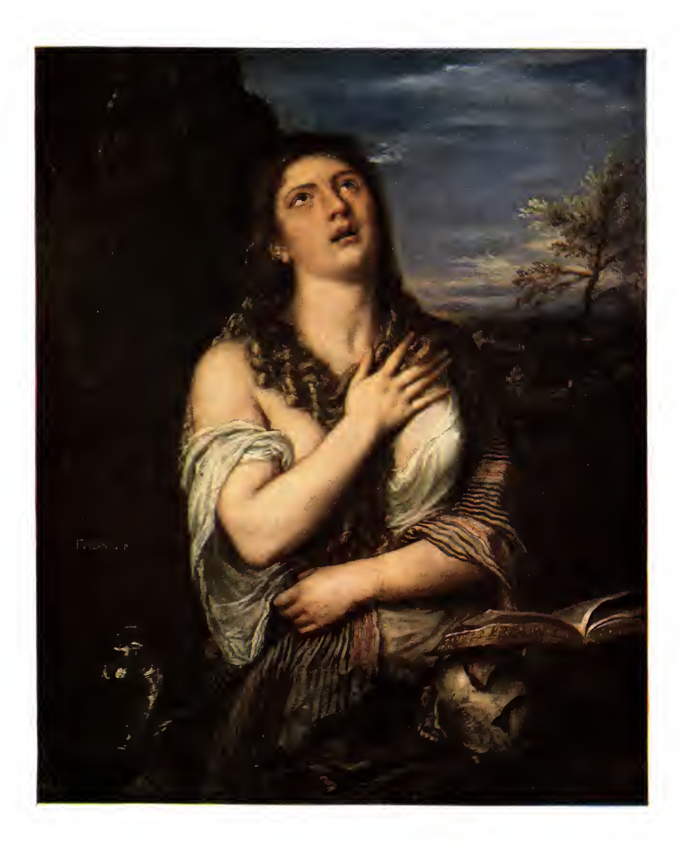


Портрет Лавинии. 60-е гг. 16 век.

Из произведений Вечеллио **ТИЦИАНА**. 1477—1576 гг.
(1—4-я стр. вкладки).



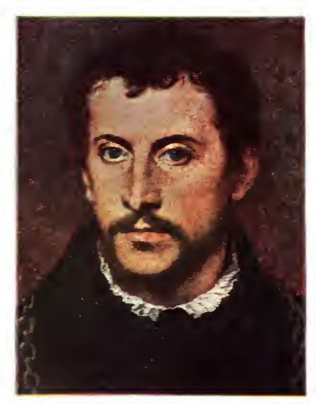
Динарий Кесаря. 10-е гг. 16 век.



Кающаяся Магдалина. Около 1565 г.



Аллегория.
Альфонсо д'Авалос.
Около 1530 г.



Ипполито Риминальди
(фрагмент).
Около 1548 г.

N8 76